

Жень-Шень. Михаил Михайлович Пришвин [prishvinmihail.ru](http://prishvinmihail.ru)  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://prishvinmihail.ru/> Приятного чтения!

Жень-Шень. Михаил Михайлович Пришвин

I

Звери третичной эпохи земли не изменили своей родине, когда она оледенела, и если бы сразу, то какой бы это ужас был тигру увидеть свой след на снегу! Так остались на своей родине и страшные тигры, и одно из самых прекрасных в мире, самых нежных и грациозных существ – пятнистый олень, и растения удивительные: древовидный папоротник, аралия и знаменитый корень жизни Женьшень. Как не задуматься о силе человека на земле, если даже оледенение субтропической зоны не могло выгнать зверей, но от грохота человеческих пушек в 1904 году в Маньчжурии они бежали, и, говорят, тигров встречали после далеко на севере, в якутской тайге. Вот и я тоже, как звери, не выдержал. Как гудел роковой снаряд, подлетая к нашему окопу, я слышал и отчетливо помню и посеючас, а после – ничего. Так вот люди иногда умирают: ничего! За неизвестный мне срок все переменялось вокруг: живых не было, ни своих, ни врагов, вокруг на поле сражения лежали мертвые люди и лошади, валялись стаканы от снарядов, обоймы, пустые пачки от махорки, и земля была, как оспинами, покрыта точно такими же ямами, как возле меня. Подумав немного, я, химик-сапер, вооруженный одним револьвером, выбрал трехлинейку получше, набрал в свой ранец патронов побольше и не стал догонять свою часть. Я был самый усердный студент-химик, меня сделали прапорщиком, я долго терпел и, когда воевать стало бессмысленно, взял и ушел, сам не зная куда. Меня с малолетства манила неведанная природа. И вот я будто попал в какой-то по моему вкусу построенный рай. Нигде у себя на родине я не видал такого простора, как было в Маньчжурии: лесистые горы, долины с такой травой, что всадник в ней совершенно скрывается, красные большие цветы – как костры, бабочки – как птицы, реки в цветах. Возможно ли найти еще такой случай пожить в девственной природе по своей вольной волюшке! Отсюда недалеко была русская граница с точно такой же природой. Я пошел в ту сторону и скоро увидел идущие в гору на песке по ручью бесчисленные следы коз: это валила к нам в Россию на север через границу маньчжурская ходовая [1] коза и кабарга. Долго я не мог их догнать, но однажды, за перевалом, где берет начало речка Майхэ в горной теснине высоко над собой, на щеке увидел я одного козла, – он стоял на камне и, как я это понял, почуял меня и стал по-своему ругаться. В то время я уже истратил все свои сухари и дня два питался белыми круглыми грибами, которые потом, созревая, пыхают под ногами: эти грибки, оказалось, были сносной пищей и возбуждали, почти как вино. Козел мне теперь на голодуху был очень кстати, и я стал в него целиться особенно тщательно. Пока мушка бродила по козлу, мне удалось рассмотреть, что пониже козла под дубом лежал здоровенный кабан, и козел на него ругался, а не на меня. Я перевел мушку на кабана, и после выстрела откуда-то взялось и помчалось целое стадо диких свиней, а на хребте, на обдуве, всполыхнула не видимая мне вся ходовая коза и помчалась стремительно вдоль Майхэ к русской границе. В той стороне виднелись на сопках две фанзы с небольшими пятнами китайской пашни. Хозяева-китайцы охотно взяли у меня кабана, покормили и дали мне за мясо рис, чумизу и еще кое-какое продовольствие. После того как оказалось, что патроны – та же валюта в тайге, я стал чувствовать себя очень хорошо, довольно скоро.

– Ходи, ходи! – сказал он мне.

И кое-как по-русски объяснил мне. Три года тому назад этот распадок был захвачен китайскими охотниками: тут они ловили изюбров и пятнистых оленей, а это написали для страха, чтобы другие не ходили тут и не пугали зверей.

– Ходи-ходи, гуляй-гуляй! – с улыбкой сказал мне китаец. – Ничего не будет.

Эта улыбка и пленила меня, и в то же время привела в некоторое замешательство. В первый момент китаец мне показался не только старым, но даже очень древним человеком: лицо его было сплошь покрыто мелкими морщинами, цвет кожи был землистый, глаза, едва заметные, прятались в этой сморщенной коже, похожей на кору старого дерева. Но когда он улыбнулся, то вдруг загорелись черным огнем прекрасные человеческие глаза, кожа разгладилась, оцветились губы, сверкнули еще белые зубы, и все лицо во внутреннем смысле своем стало юношески свежим и детски доверчивым. Так бывает: иные растения в непогоду или на ночь закрываются серыми щитками, а когда станет хорошо, открываются. С каким-то особенным родственным вниманием посмотрел он на меня.

Жень-шень. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

– Мал-мало кушать хочу, – сказал он и повел меня в свою маленькую фанзу у ручья, в распадке, под тенью маньчжурского орехового дерева с огромными лапчатыми листьями.

фанзочка была старенькая, с крышей из тростников, обтянутых от сдува тайфунами сеткой; вместо стекол на окнах и на двери была просто бумага; огорода вокруг не было, зато возле фанзы стояли разные орудия, необходимые для выкапывания жень-шеня: лопаточки, заступы, скребки, берестяные коробочки и палочки. Возле самой фанзы ручья не было видно, он протекал где-то под землей, под грудой навороченных камней, и так близко, что, сидя в фанзе с открытой дверью, можно было постоянно слушать его неровную песню, иногда похожую на радостный, но сильно приглушенный разговор. Когда я прислушался в первый раз к этому разговору, мне представилось, будто существует «тот свет» и там теперь все разлученные, любящие друг друга люди встретились и не могут наговориться днем и ночью, недели, месяцы... Мне суждено было много лет провести в этой фанзе, и за эти долгие годы я не мог привыкнуть к этим разговорам, как перестал замечать после концерты кузнечиков, сверчков и цикад: у этих музыкантов до того однообразная музыка, что через самое короткое время их перестаешь слышать, – напротив, они, кажется, для того только и созданы, чтобы отвлекать внимание от движения собственной крови и тишину пустыни делать полной, какой никогда бы она не могла быть без них; но я никогда не мог забыть разговор под землей оттого, что он всегда был разный, и восклицания там были самые неожиданные и неповторимые.

Искатель корня жизни приютил меня, покормил, не спрашивая, откуда я и зачем сюда пришел. Только уж когда я, хорошо закусив, добродушно поглядел на него и он ответил мне улыбкой, как знакомый и почти что родной человек, он показал рукой на запад и сказал:

– Арсея?

Я понял сразу его и ответил:

– Да, я из России.

– А где твоя Арсея? – спросил он.

– Моя Арсея, – сказал я, – Москва. А где твоя?

Он ответил:

– Моя Арсея Шанхай.

Конечно, так пришлось и сошлось в нашем языке «моя по твоя» совершенно случайно, что и у него, китаец, и у меня, русского, была как будто общая родина Арсея, но потом, через много лет я эту Арсею стал понимать здесь, у ручья, с его разговорами и считать просто случайностью, что когда-то Арсея Лувена была в Шанхае, а моя Арсея в Москве...

Всего только шагах в двадцати от фанзы начиналась непролазная крепь, дубняк и бархатное дерево, мелколистственный клен, граб и тисе, крепко-накрепко перевитые лианами лимонника и винограда, колючками с высокой, саженой полынью и той самой сиренью, которая встречается у нас только в садах. Лувен, спускаясь часто за водой, пробил здесь тропу, и эта едва заметная тропка, обходя крепкое место, вскоре приводит к обрыву, и тут весь разговор, слышимый возле фанзы, как бы на том свете, вырывается наружу: поток, являясь на белый свет из-под скалы, сразу же разбивается о встречный утес и летит вниз радужной пылью. Но и вся широкая отвесная скала немного сочится, всегда мокрая, всегда блестит, и эти ее бесчисленные струйки сливаются внизу в открытый и веселый поток. Никогда не забуду я этого счастья! Какая награда мне была за весь мой нелегкий переход искупаться в этом потоке! Там, назади, за хребтом гнус мне жить не давал, а тут, у самого моря, уже не было ни комаров, ни слепней, ни мошек. Пониже того места, где я купался, был водоворот в камнях; тут я оставил в стирку свое белье, сам же сел в купальню, а на голову мне сверху летели брызги, как душ. Вот этот шум падающей воды и скрадывал от животных всякий звук от ужасного для них человека, они доверчиво подходили к потоку напиться, и даже в самый первый раз я кое-что заметил в этой приморской тайге. Под сенью широколиственных деревьев на тенелюбивых травах всюду были разбросаны зайчики богатого солнца сорок второй

Жень-шень. Михаил Михайлович Пришвин [prishvinmihail.ru](http://prishvinmihail.ru)  
параллели. Летом – время туманов, только в редчайшие дни это солнце показывается в приморье во всей возможной славе и силе, и так счастливо оно встретило меня в этот день. Среди солнечных зайчиков невозможно бы мне было заметить совершенно такие же пятна на красной шерсти животных, если бы они не двигались: пятнистые олени, полежав, наверно, где-нибудь тут вблизи, встали и пошли, перемещая свои пятна среди солнечных зайчиков, на водопой. Кто не слышал, приближаясь к востоку, об этом редчайшем звере приморской тайги, сохраняющем будто бы в своих рогах, когда они молоды и насыщены кровью, целебную силу, возвращающую людям молодость и радость? Сколько легенд я слышал об этих пантах, столь драгоценных у китайцев, что даже всем сказкам и небылицам придаешь какое-то значение. И вот эти самые знаменитые панты высунулись между двумя огромными листьями маньчжурского орехового дерева у самой воды, они были бархатистые, красно-персикового цвета, на живой голове с большими прекрасными серыми глазами. И только Серый Глаз наклонился к воде, рядом показалась безрогая голова с еще более прекрасными глазами, но только не серыми, а черно-блестящими. Около этой ланки-самки оказался молодой олень с тонкими шильцами вместо пантов и еще совсем маленький олененок, крошечная штучка, но тоже с такими же пятнами, как у больших; этот маленький залез прямо в ручей со всеми своими четырьмя копытцами. Мало-помалу олененок, подвигаясь вперед от камушка к камушку, стал как раз между мной и матерью, и когда она захотела проверить его и посмотрела, то взгляд ее как раз попал на меня, сидящего истуканом в брызгах воды. Она замерла, окаменела, изучая меня, угадывая, камень я или могу шевельнуться. Рот ее был черный и для животного чрезвычайно маленький, зато уши необыкновенно большие, такие строгие, такие чуткие, и в одном была дырочка: светилась насквозь. Никаких других подробностей я не мог заметить, так захватили все мое внимание прекрасные черные блестящие глаза – не глаза, а совсем как цветок, – и я сразу понял, почему китайцы этого драгоценного оленя зовут Хуа-лу, значит – олень-цветок. Так трудно было представить себе того человека, кто, увидев такой цветок, прицелился в него из ружья и пустил свою страшную пулю: дырочка от пули так и светилась. Трудно сказать, сколько времени мы смотрели друг другу в глаза, – кажется, очень долго! Я едва переводил дух, мне становилось все трудней и трудней, и, вероятно, от этого волнения блики на глазах моих двигались. Хуа-лу это заметила, медленно стала поднимать переднюю ногу, очень тонкую, с маленьким острым копытцем, согнула ее и, вдруг с силой выпрямив, топнула. Тогда Серый Глаз поднял свою голову и тоже стал смотреть на меня с таким выражением, будто он с большой высоты хочет разглядеть какую-то неприятную мелочь и, не будучи в силах по природе своей замечать гадкие подробности жизни, смотрел, сохраняя достоинство властителя оленей, и только не говорил, как говорят иногда высокопоставленные маленьким просителям: «Я все готов сделать вам, только поскорее выясните, в чем тут дело, не самому ж мне выяснять!» В то время как топнула Хуа-лу и Серый Глаз поднял в недоумении свою величественную голову с короткими бархатистыми пантами, там, чуть-чуть пониже, много чего-то шевелилось и среди других голов одна большая подалась вперед, и показался весь олень с черной, отчетливой, как ремень, полосой на спине. Даже издали можно было понять, что Черноспинник не по-доброму смотрел, и в глазах его, черных и сумрачных, была какая-то недобрая затея. Не только все эти олени возле Черноспинника по сигналу Хуа-лу стали неподвижно созерцать меня, но и олененок из ручья, подражая взрослым, точно так же старался окаменеть. Мало-помалу он стал утомляться, а кроме того, конечно, его, как и всех оленей, ели клещи, он не выдержал скуки, поднял ногу и почесался. Тогда я тоже не выдержал, улыбнулся, и тут Хуа-лу уже поняла и решительно и так сильно топнула ногой, что камень отвалился и булькнул в воду с брызгами. После того она вдруг шевельнула своими черными губами и совершенно по-человечески свистнула, а когда повернулась и бросилась бежать, то раздула свою особенную широкую белую салфетку, чтобы следующему за ней оленю можно было следить, куда она будет мчаться в кустах. За матерью бросились саёк-олененок [2], Серый Глаз, Черноспинник и другие олени. Когда же все умчались, прямо на середину ручья выскочила хорошенькая ланка, остановилась и как будто спрашивала своей хорошенькой мордочкой: «Что случилось, куда они убежали?» Вдруг она бросилась через ручей в совершенно противоположную сторону, скоро очутилась на половине щеки распадка, посмотрела на меня оттуда сверху, опять бросилась, опять посмотрела со всей высоты и скрылась за чертой черной скалы и синего неба.

## II

Лувен в глубоком распадке спрятал свою фанзочку от страшных тайфунов приморского края, но если подняться на щеку распадка вверх метров на сто, оттуда видно море, Тихий океан. Наш распадок Чики-чики очень недалеко от того места, где я встретился с оленями, входил в большую падь Зусухэ, вода здесь становилась много

Жень-шень. Михаил Михайлович Пришвин [prishvinmihail.ru](http://prishvinmihail.ru)  
спокойней, падь постепенно переходила в долину, и река спокойно и торжественно, закончив свой мучительный бег по горным распадкам и падям, вливалась в океан.

На другой же день, как я прибыл сюда, в бухту Зусухэ пришел пароход с переселенцами и, пока они устраивались, стоял тут две недели, и вот за эти две недели и совершилось то самое большое событие моей жизни, о котором я и буду рассказывать. Та долина, где бежит Зусухэ, вся сплошь покрыта цветами, и тут я научился понимать трогательную простоту рассказа каждого цветка о себе: каждый цветок в Зусухэ представляет собою маленькое солнце, и этим он говорит всю историю встречи солнечного луча с землею. Если бы я мог о себе рассказать, как эти простые цветы в Зусухэ! Были ирисы – от бледно-голубых и почти что до черных, орхидеи всевозможных оттенков, лилии красные, оранжевые, желтые, и среди них везде звездочками ярко-красными была рассыпана гвоздика. По этим долинам, простым и прекрасным цветам всюду летали бабочки, похожие на летающие цветы, желтые с черными и красными пятнами аполлоны, кирпично-красные, с радужными переливами крапивницы и огромные удивительные темно-синие махаоны. Некоторые из них – я тут только это впервые и видел – могли садиться на воду и плыть, а потом опять поднимались и летали над морем цветов. Пчелы реяли на цветах, осы; с шумом носились по воздуху мохнатые шмели с черным, оранжевым и белым брюшком. Случалось, когда я заглядывал в чашечку цветка, там оказывалось такое, чего я никогда не видал и назвать до сих пор не могу: ни шмель, ни пчела, ни оса. А по земле между цветами всюду юлили проворные жужелицы, ползали черные могильщики, таились огромные реликтовые жуки, собираясь при случае вдруг подняться на воздух и прямо лететь, никуда не сворачивая. Среди всех этих цветов и кипучей жизни долины только я один, так мне казалось, не мог прямо смотреть на солнце и рассказывать просто, как они. Я могу рассказать о солнце, избегая встречаться с ним глазами. Я человек, я слепну от солнца и могу рассказывать, лишь окидывая родственным вниманием все разнообразные освещенные им предметы и все лучи их собирая в единство.

С высокой скалы над нашей фанзой я заметил пароход, и мне захотелось посмотреть на людей. Пока я спустился к тому месту, где наш ручей Чики-чики вливается в Зусухэ, стало очень жарко, я устал и захотел отдохнуть. Тут, на месте слияния ручья и реки Зусухэ, на берегу лианы винограда до того опутали молодые маньчжурские ореховые Деревья, что некоторые из них превратились в сплошные темно-зеленые, непроницаемые для солнечных лучей шатры. Мне очень захотелось проникнуть внутрь какого-нибудь шатра, и если там окажется хорошо и прохладно, посидеть и отдохнуть. Не так было легко проникнуть туда через целую сеть спущенных к земле виноградных, довольно толстых лиан. Раздвинув лианы, однако, я увидел вокруг ствола заплетенного и совершенно невидного снаружи дерева довольно просторную сухую площадку, и тут в большой прохладе сел я на камень, спиной прислонясь к серому стволу дерева. Конечно, внутри шатра не было так непроницаемо для солнечных лучей, как казалось снаружи, зелень здесь светилась как бы сама от себя, и всюду были солнечные зайчики. Была полная тишина в воздухе, и потому я через некоторое время с большим удивлением заметил какое-то движение, перемещение среди солнечных зайчиков, как будто кто-то снаружи то заслонял, то опять открывал солнечные лучи. Осторожно я раздвинул побеги винограда и увидел всего в нескольких шагах от себя осыпанную своими собственными зайчиками ланку. К счастью, ветер был на меня, и на таком расстоянии даже я мог чуют оленя. Но что было бы, если бы ветер дунул от меня на нее! Мне даже страшно стало, что она по какому-нибудь моему нечаянному шороху догадается. Я почти не дышал, а она приближалась, как все очень осторожные звери, – один шаг ступит и остановится и свои необыкновенно длинные и сторожкие уши настраивает в ту сторону, где что-нибудь причувывает по воздуху. Раз я уже подумал было, что все кончилось: она поставила уши прямо против меня, и тут я заметил на левом ухе дырочку от пули и с большой радостью, как будто друга встретил, узнал в ней ту самую ланку, которая топала на меня возле горного ручья. В недоумении или раздумье она теперь, как и тогда, подняла переднюю ногу и так осталась, и если бы я задел своим дыханием хоть один только виноградный листик, она бы топнула и скрылась. Но я замер, и она медленно опустила ногу, сделала один и еще один шаг ко мне. Я смотрел ей прямо в глаза, дивился их красоте, то представляя себе такие глаза на лице женщины, то на стебельке, как цветок, как неожиданное открытие среди цветов Зусухэ. Тут я еще раз понял необходимость имени олень-цветок, и мне было радостно думать, что много тысяч лет тому назад никому не известный желтолицый поэт, увидев эти глаза, понял их как цветок, и я теперь, белолицый, их понимаю тоже как цветок; радостно было и оттого, что я не один и что на свете есть беспорные вещи. Мне стало понятно и особенное предпочтение китайцами пантов именно этого оленя, а не грубого изюбра

Жень-шень. Михаил Михайлович Пришвин [prishvinmihail.ru](http://prishvinmihail.ru)

или марала: правда, мало ли на свете полезных и даже целебных веществ, но так редко бывает на свете, что полезное в то же время и совершенно по красоте. Между тем Хуа-лу, сделав еще несколько шагов к моему шатру, вдруг поднялась на задние ноги, передние положила высоко надо мной, и через виноградные сплетения просунулись ко мне маленькие изящные копытца. Мне было слышно, как она отрывала сочные виноградные листья, любимое кушанье пятнистых оленей, довольно приятное и на наш человеческий вкус. По ее большому вымени, из которого сочилось молоко, я вспомнил о ее олененке, но, конечно, не посмел наклониться и посмотреть из дырочки по сторонам: тут где-то он должен быть непременно. Как охотника, значит тоже зверя, меня очень соблазняло – тихонечко приподняться и вдруг схватить за копытца оленя. Да, я сильный человек и чувствую, что, возмись я крепко-накрепко обеими руками повыше копытцев, я оборол бы ее и сумел бы связать поясным ремешком. Всякий охотник поймет мое почти неудержимое желание схватить зверя и сделать своим. Но во мне еще был другой человек, которому, напротив, не надо хватать, если приходит прекрасное мгновение, напротив, ему хочется то мгновение сохранить нетронутым и так закрепить в себе навсегда. Конечно, все мы люди, и понемногу у нас у всех это есть: ведь и самый страстный охотник с трудом скрепит в себе слабое сердце, когда простреленный зверь умирает, и самый нежный поэт хотел бы присвоить и цветок, и оленя, и птицу. Я как охотник был себе самому хорошо известен, но никогда я не думал, не знал, что есть во мне какой-то другой человек, что красота, или что там еще, может меня, охотника, связать самого, как оленя, по рукам и ногам. Во мне боролись два человека. Один говорил: «Упустишь мгновение, никогда оно тебе не возвратится, и ты вечно будешь о нем тосковать. Скорей же хватай, держи, и у тебя будет самка Хуа-лу, самого красивого в мире животного». Другой голос говорил: «Сиди смирно! Прекрасное мгновение можно сохранить, только не прикасаясь к нему руками». Это было точно как в сказке, когда охотник прицелился в лебедя – и вдруг слышит мольбу не стрелять ее, подождать. И потом оказывается, что в лебеди была царевна, охотник удержался, и вместо мертвого лебедя потом перед ним явилась живая прекрасная царевна. Так я боролся с собой и не дышал. Но какой ценой мне то давалось, чего мне стоила эта борьба! Удерживаясь, я стал мелко дрожать, как собака на стойке, и, возможно, это дрожание мое звериное перешло в нее, как тревога. Хуа-лу тихонечко вынула из виноградных сплетений копытца, стала на все свои тонкие ноги, поглядела с особенным вниманием в темноту кущи мне прямо в глаза, повернулась, пошла, вдруг остановилась, оглянулась; откуда-то взялся и подошел к ней олененок, вместе с ним она довольно долго смотрела мне прямо в глаза и потом скрылась в кустах таволожки.

### III

Река из горной тайги каждую весну и в каждое наводнение летом и осенью тащит на морской берег множество подмытых и сваленных тайфунами лесных великанов – тополей, кедров, грабов, ильмов – и засыпает их песком, и так много песку, и так много лет проходит, что самое море отступает и образуется бухта.

Сколько же сот лет прошло, пока работой моря и реки Зусухэ завернулась полукругом линия моря и суши? Сколько морских зверей перебивало на маленьком каменном острове посредине бухты, пока наконец гудок парохода не нарушил тишину морской пустыни и все нерпы от страха не попрыгали с острова в воду?

У самого моря из песка, будто спина окаменелого чудовища, виднелось полузанесенное песком огромное дерево; от вершины его остались два громадных сука, и они торчали черные, узловатые, рассекая до горизонта голубое небо. На малых ветвях этого дерева висели белые круглые хорошенькие коробочки, – это были выброшенные тайфунами скелеты морских ежей. Какая-то женщина сидела спиной ко мне и собирала себе в баульчик эти подарки моря. Вероятно, я был еще под сильным влиянием грациозного животного возле дерева, опутанного виноградом, что-то в этой незнакомой мне женщине напомнило мне Хуа-лу, и я был уверен, что вот сейчас, как только она обернется, я увижу те прекрасные глаза на лице человека. Я и сейчас не могу понять, из чего это выходило и складывалось, ведь если мерить, рисовать, то будет совсем не похоже, но мне было так, что вот, как только она обернется, непременно явится передо мной олень-цветок Хуа-лу, воплощенная в женщине. И дальше, как бы в ответ моему предчувствию, как в сказке о царевне-лебеди, началось превращение. Глаза у нее были до того те же самые, как у Хуа-лу, что все остальное олень – шерсть, черные губы, сторожкие уши – переделывалось незаметно в человеческие черты, сохраняя в то же время, как у оленя, волшебное сочетание, как бы утвержденную свыше нераздельность правды и красоты. Она глядела на меня настороженная, удивленная, казалась – вот-вот топнет на меня, как олень, и убежит. Сколько разных чувств проходит во мне,

Жень-шень. Михаил Михайлович Пришвин [prishvinmihail.ru](http://prishvinmihail.ru)

сколько мыслей туманом проносится, и в них как будто каких-то решений в мире неясного и непонятного, но слов, совершенно правдивых и верных, я и сейчас не найду и не знаю, придет ли в этом когда-нибудь час моего освобождения. Да, я так бы и сказал, что скорее всего слово свобода будет самое близкое название тому особенному состоянию, когда, поняв красоту необыкновенного зверя, я вдруг получил возможность продолжать это бесконечно далеко в человеке. Было – как будто я из тесного распадка вышел на долину Зусухэ, покрытую цветами, с бесконечным продолжением ее в голубой океан.

И вот еще самое главное, было два человека. Когда Хуа-лу просунула мне копытца через виноградные сплетения, один был охотник, назначенный схватить ее сильными руками повыше копыт, и другой – неизвестный еще мне человек, сохраняющий мгновение в замирающем сердце на веки веков. Так вот я без колебания теперь скажу, что именно так, именно тем неизвестным мне самому человеку, робко-восторженным и бесконечно сильным в своем замирании, подошел я к ней, и она сразу меня поняла. Она и не могла не понять меня и не ответить. Если бы это не раз в жизни пришло, а всегда жило в себе, то можно бы всем нам всегда и всюду каждый цветок, каждую лебедь, каждую ланку превращать в царевну и жить, как мы жили с этой моей превращенной царевной в долине цветов Зусухэ, в горах, на берегах рек и ручьев. Мы были с ней и на Туманной горе, бывшей когда-то вулканом: там теперь рождаются драгоценные пятнистые олени. Мы слушали в фанзочке подземный разговор наших предков, и тут же искатель корня жизни Лувен рассказывал нам о чудесных свойствах этого корня, способного наделять человека вечной молодостью о красотой. Он показывал нам даже порошок, составленный из корня жизни, пантов и еще каких-то целебных грибов, но когда мы, смеясь, стали просить у него порошок вечной молодости и красоты, он вдруг рассердился и перестал с нами разговаривать. Скорее всего ему стало досадно, что мы не доверяем ему и смеемся, а может быть, он, уверенный, что для успеха в искании корня жизни надо иметь чистую совесть, хотел и нам намекнуть на это: что и мы, как и он, искатель, должны тоже подумать о чистоте своей совести. И то возможно, что старый Лувен мог видеть в нашем счастье там и тут рассекающие его молнии. Во мне жило два человека, те самые, как в отношении прекрасной Хуа-лу: один – охотник и другой – еще неизвестный мне человек. И когда мы шли в мой виноградный шатер постеречь Хуа-лу, я сделал ошибку, – вернее, не весь я, а я как охотник. Она, возмущенная, вдруг переменялась ко мне: казалось, внезапная молния разорвала наш союз; но я снова собрался в себе и занял обыкновенную свою, покоряющую все высоту. Мы сидели в это время в виноградном шатре – и вдруг через окошко увидели во всей красе Хуа-лу, как она с олененком перешла полянку, совсем недалеко от нас ела листики винограда и потом дальше куда-то ушла в кусты таволожки и туи. Оставаясь на той занятой мною высоте, я стал ей рассказывать о встрече с Хуа-лу, когда она поднялась на задние ноги, просунула копытца в виноградные сплетения, и как я дрожал мелкой дрожью, удерживаясь от искушения схватить ее за копытца, и вот неведомый мне самому какой-то другой человек помог мне удержать в себе прекрасное мгновение, и как бы в награду за это олень-цветок превратился в царевну...

Мне хотелось этим рассказом показать ей, что я могу занять всю высоту, что ошибка моя перед этим просто случайность и больше она у меня не повторится. Я говорил, не глядя на нее, в какое-то окружающее нас зеленое пространство. Мне хотелось высказать ей это мое самое тайное, не глядя ей в глаза, и когда мне подумалось, что вот я достиг, вот теперь-то уж я могу посмотреть ей прямо в глаза, вот теперь-то я увижу там... Я думал – встречу там все голубое, и вдруг все вышло обратное и непонятное: не голубое тем было, – я там встретил огонь. В пламенном румянце, с полузакрытыми глазами, она склонилась на траву. В это мгновение раздался гудок парохода, она не могла не слышать его, но она его не слыхала. А я точно так же, как было с ланкой оленя, я замер, потом я, как и она, был в пламени, потом металл мой побелел, а я продолжал сидеть неподвижно. Тогда раздался второй гудок парохода, она встала, оправила прическу и, не глядя на меня, вышла...

IV

Чем успокаивает шум моря, когда стоишь на берегу? Мерный звук прибоя говорит о больших сроках жизни планеты Земли, прибой – это как часы самой планеты, и когда эти большие сроки встречаются с минутами твоей быстренькой жизни среди выброшенных на берег ракушек, звезд и ежей, то начинается большое раздумье о всей жизни, и твоя маленькая личная скорбь замирает, и чувствуешь ее глухо и где-то далеко...

Жень-шень. Михаил Михайлович Пришвин [prishvinmihail.ru](http://prishvinmihail.ru)

У самого моря был камень, как черное сердце. Величайший тайфун, вероятно, когда-то отбил его от скалы и, должно быть, неровно поставил под водой на другую скалу; камень этот, похожий своей формой на сердце, если прилечь на него плотно грудью и замереть, как будто от прибоя чуть-чуть покачивался. Но я верно не знаю, и возможно ли это. Быть может, это не море и камень, а сам я покачивался от ударов своего собственного сердца, и так мне трудно было одному и так хотелось мне быть с человеком, что этот камень я за человека принял и был с ним как с человеком.

Камень-сердце сверху был черный, а половина его ближе к воде была очень зеленая: это было оттого, что когда прилив приходил и камень весь доверху погружался в воду, то зеленые водоросли успевали немного пожить и, когда вода уходила, беспомощно висели в ожидании новой воды. На этот камень я забрался и смотрел с него до тех пор, пока пароход не скрылся из глаз. После того я лег на камень и долго слушал; этот камень-сердце по-своему бился, и мало-помалу все вокруг через это сердце вступило со мной в связь, и все было мне как мое, как живое. Мало-помалу выученное в книгах о жизни природы, что все отдельно, люди – это люди, животные – только животные, и растения, и мертвые камни, – все это, взятое из книг, не свое, как бы расплавилось, и все мне стало как свое, и все на свете стало как люди: камни, водоросли, прибои и бакланы, просушивающие свои крылья на камнях совершенно так же, как после лова рыбаки сети просушивают. Прибой примирил меня, убаюкал, и я очнулся, разделенный водою от берега; камень же наполовину был потоплен, водоросли вокруг него шевелились, как живые, а бакланов на косе теперь доставала вода прибоя: сидят, сушат крылья – и вдруг их окатит водой и даже сбросит, но они опять садятся и опять сушат крылья, раскинув их так, как это у орлов на монетах. Тогда я принимаю в себя вопрос, как будто очень важный и необходимый для разрешения: почему бакланы держатся именно этой косы и не хотят для просушки своих крыльев перелететь немного повыше?

А то было на другой день, я опять пришел сюда слушать прибой, долго смотрел в ту сторону, куда ушел пароход, и потом очнулся в тумане. Чуть виднелось, на берегу копошились новоселы. Любого спросить, думалось мне, каждый признает во мне бродягу, бездомное существо и поспешит спрятать от меня топор и лопату. Как они ошибаются! Был я бродяга, но теперь я прострелен насквозь, и от этого через боль свою я везде чувствую одно и то же: мне везде теперь родина, в чем-то этом моем все существа на земле одинаковы, и нечего больше теперь мне искать, никакая перемена внешняя туда, внутрь меня, не принесет ничего нового. Не там родина, думалось мне, где ты просто родился, а вот родина, где ты это понял, что нашел свое счастье, пошел навстречу ему, доверился, отдался, а оттуда в тебя, в ту самую точку, где находится счастье, начали стрелять.

Морское летнее тепло поднималось вверх, охлаждалось у хребта и садилось обратно туманом и бусом. Но мне было – будто огромные белые стрелки в белой широкой одежде, колыхаясь, наступают и расстреливают меня не сразу пулями, а мелкой дробью, чтобы я, расстрелянный, уничтоженный, сам в себе жил, мучился и через эту необходимую муку все понял. Нет! Теперь больше я не бродяга и очень хорошо понимаю бакланов, почему им плохо крылья сушить на этой косе, а они все-таки не хотят перелететь повыше, на другую скалу: им тут пришлось рыбу ловить, и тут они застряли. «А перелетишь, – думают они, – повыше, где лучше сушиться, то еще, пожалуй, и рыбку упустишь. Нет, мы останемся жить на этой косе». Да так вот и живут, перебиваются, обживают морскую косу. И так еще мне было, что вот этот камень-сердце лежит и чуть-чуть при ударе волн качается, и так он должен, может быть, сто лет и больше, тысячу лет лежать и покачиваться, а я никаких особенных преимуществ перед ним не имею, так почему ж буду я переменять место и утешаться? Нет утешения!

И вот как только я сказал себе со всей силой, со всей решимостью, что нет утешения и не быть повторению и соблазну ожидания лучшего в переменах на стороне, то па какой-то срок мою боль отпустило, и даже на минутку представилось, что жизнь для меня продолжается и после расстрела. Тогда я вспомнил про своего Лувена и пошел в его фанзочку, как в свое родное гнездо.

В глубине распадка жаркая сырость в эту ночь подняла всех летающих насекомых, и многие миллионы из них в брачном полете зажгли свои ночные фонарики, как будто заняв для них свет у невидимой луны. Я сидел под навесом фанзы и старался проследить начало и конец пути какого-нибудь светляка. Срок света каждому из них назначен был очень короткий, секунда, может быть, две, и все кончалось во тьме, но тут же начиналось другое. То же ли насекомое, отдохнув, продолжало свой

Жень-шень. Михаил Михайлович Пришвин [prishvinmihail.ru](http://prishvinmihail.ru)  
светящийся путь, или же путь одного кончался и продолжался другим, как у нас в человеческом мире?

– Лувен, – спросил я, – как это все твоя понимает?

Неожиданно Лувен отвечал:

– Моя сейчас понимаю, как твоя.

Что это значило?

В это время под землей, где все так и продолжался постоянный неровный разговор, вдруг что-то случилось, грохнуло. Лувен прислушался, стал очень серьезным.

– Наверно, – сказал я, – там камень упал?

Он не понял меня. И я руками воздух обвел, сделал пещеру, представил, как упал камень в воду и нарушил течение ручья. Лувен во всем со мной согласился и опять повторил:

– Моя сейчас понимаю, как твоя.

Так он второй раз это сказал, и я все еще не догадывался, о чем он говорит. Вдруг лайба поджала хвост и бросилась в глубину фанзы, – по всей вероятности, где-нибудь очень близко тигр проходил, а может быть, и прямо залег в камнях, рассчитывая Лайбу схватить. Нам пришлось развести костер для защиты, и тогда сразу же на огонь собрались к нам бесчисленные ночные бабочки, и так много их было в эту сырую и жаркую ночь, что явственно слышался шелест крыльев. Этого я никогда не слышал: так много бабочек, что слышится в ночном воздухе шелест. Будь я простым и здоровым, как было еще так недавно, я не придал бы этому шелесту такого особенного значения, как это было сейчас: шелест жизни! Но теперь почему-то все это глубоко касалось меня. Я настороженно слушал и, с большими глазами, удивленный до крайности, спросил об этом Лувена, как это он понимает, и в третий раз Лувен значительно сказал:

– Моя сейчас понимаю, как твоя.

Тогда я всмотрелся в Лувена и вдруг наконец-то понял его: не жизнь летающих светляков, не обвал под землей, не шелест жизни бесчисленных бабочек занимали Лувена, а я сам. Он-то все это живое давным-давно принял к сердцу и жил в этом и, конечно, по-своему все понимал, но ему важно было через мое внимание к этому понять меня самого. И, конечно, он тоже хорошо знал, кого от меня увез пароход. Вот он берет теперь барсучью шкурку, свою неизменную спутницу в поисках корня жизни, и тут же возле меня, под навесом, свертывается на ней, как собачка. Он так спит всегда, что с ним говорить можно всю ночь и он будет отвечать во сне разумному вопросу, все равно как и неясному бормотанию спящего.

Теперь, когда много лет прошло и я все испытал, я думаю, что не горе дает нам понимание жизни всей во всем родстве, как я ее в ту ночь понимал, а все-таки радость; что горе, как плуг, только пласт поднимает и открывает возможности для новых жизненных сил. Но есть много наивных людей, кто понимание наше жизни других людей в родстве с нами прямо приписывают страданию. И мне тоже было тогда, как будто болью своей я вдруг стал все понимать. Нет, это не боль, а радость жизни открывалась во мне из более глубокого места.

– Лувен, – спросил я, – была ли у тебя когда-нибудь женщина?

– Моя не понимаю, – отвечает Лувен.

– Одно солнце, – говорю я.

И делаю отрицательный жест. Это значит – одни сутки я отбрасываю, и получается вчера. А два пальца значит – вчера нас было двое. Вот один палец: я показываю на себя.

– Я сегодня один.

И – показывая в ту сторону, куда ушел пароход:



– Там женщина!

– Мадама! – радостно воскликнул Лувен.

Он понял: моя женщина у него значит «мадама». И показал: голова лежит с закрытыми глазами.

– Спи-спи, мадама!

Значит, его мадама давно умерла.

– Это была твоя жена?

Опять не понимает, и опять я ему показываю, как двое спят большие и рождаются маленькие.

Лувен понял и просиял: это бабушка, значит, жена, а мадама – значит, невеста. Он показывает человека в полроста – один, другого еще поменьше, третьего еще на ступеньку, еще, еще, и совсем маленький привязан сзади, л в животе есть еще...

– Многа, многа, а руками работай!

И это бабушка, жена его брата, а сам брат «спи-спи», и его собственная мадама «спи-спи», и его бабушка «спи-спи», и его дети «спи-спи», а сам Лувен работает для бабушки брата и им посылает в Шанхай.

Наша ночь продолжается. Я бормочу во сне:

– Спи-спи, мадама!

А Лувен отвечает:

– Живи-живи, мадама!

Может быть, мне и приятно слышать, и я невольно опять вызываю и получаю желанный ответ:

– Живи-живи, мадама!

Вероятней всего, что тигр у нас не задержался и дальше прошел. Лайба скоро выбралась из фанзы и свернулась возле Лувена. Костер, конечно, погас. Замолк шелест крыльев, но до утра чертили ночную тьму фонарики лунного света в брачном полете, и растения, собирая своими широкими листьями из насыщенного влагой воздуха воду, как в блюдца, вдруг проливали ее...

С рассветом опять вышли с моря белые стрелки в широкой одежде и опять стали расстреливать меня дробью.

Вот скала. Из ее бесчисленных трещин, как из слезниц, влага вытекает, собирается крупными каплями, и кажется – скала эта вечно плачет. Не человек это, камень; я знаю хорошо, камень не может чувствовать, но я такой человек, так душа моя переполнена, что я и камню не могу не сочувствовать, если только вижу своими глазами, что он плачет, как человек. На эту скалу опять я прилег, и это мое сердце билось, а мне казалось, что у самой скалы билось сердце. Не говорите, не говорите, знаю сам, – просто скала! Но вот как же мне нужно было человека, что я эту скалу, как друга, понял, и она одна только знает на свете, сколько раз я, сливаясь с ней сердцем, воскликнул: «Охотник, охотник, зачем ты упустил ее и не схватил за копытца!»

V

До чего же я в то время был наивен и прост! Я был уверен тогда, что, схвати я свою невесту, как оленя, – и все: и вопрос о корне жизни решен. Дети мои, любезные юноши и милые девушки, в то время я тоже, как и вы, по молодости слишком много придавал значения тому, о чем вы теперь говорите вполне естественно и будто бы может происходить и что-нибудь значить почти без покрова, или, как вы говорите, любовь без роз и черемухи. Да, конечно, корень жизни нашей находится в земле, и любовь наша с этой стороны, как у животных, но нельзя же

Жень-шень. Михаил Михайлович Пришвин [prishvinmihail.ru](http://prishvinmihail.ru)

из-за этого зарывать стебель и цвет свой в землю, а таинственный корень обнажать и лишать начало человеческой жизни покрова. К сожалению, все это становится ясным, когда опасность проходит, а новые дети меньше всего верят опыту старших и в этом отношении больше всего хотят быть беспризорными. Мне, однако, счастливо пришлось. Что был возле меня Лувен, самый нежный, внимательный и – я осмелюсь сказать – самый культурный отец, какие только бывают на свете. Да, я так уверился навсегда в своей пустыне, что – в душистом мыле и щеточках заключается только ничтожная часть культуры, а суть ее в творчестве понимания и связи между людьми. Мало-помалу мне стало ясным, что главное жизненное дело Лувена было врачевание, – какое оно уж там было с медицинской точки зрения – не мне судить, но я видел своими глазами, что все люди уходили от него с веселыми лицами и многие приходили потом, только чтобы поблагодарить. Из разных концов тайги приходили к нему манзы, китайские охотники, звероловы, искатели корня Жень-шень. Хунхузы, разные туземцы, тазы, гольды, орочи, гиляки с женщинами и детьми, покрытыми струпьями, бродяги, каторжники, переселенцы. У него было множество знакомств в тайге, и, кажется, после корня жизни и пантов самым сильным лекарством он считал деньги. Никогда он не имел нужды и в этом лекарстве: стоило только ему было дать знать кому-нибудь из своих – и лекарство являлось. Раз было, среди лета Зусухэ так разлилась, что смыла все поля, и новоселы остались ни с чем. Тогда Лувен дал знать своим друзьям – и русские люди были спасены от голодной смерти только этой китайской помощью. Так вот тут-то я и научился понимать, на всю жизнь, не по книгам, а на примере, что культура не в манжетах и запонках, а в родственной связи между всеми людьми, превращающей даже деньги в лекарство. Сначала было немного смешно слышать это от Лувена, что деньги – это лекарство, но условия нашей пустынной жизни сами собой привели к тому, что и я стал их понимать как лекарство. Кроме Жень-шеня, пантов, денег, у него лекарством была еще кровь горала, струя кабарги, хвосты изюбра, мозг филина, всевозможные грибы, наземные и древесные, разные травы и корни, среди которых много было и наших: ромашка, мята, валерьян. Раз я смотрел в лицо старика, заботливо разбирающего травы, и решил спросить его:

- Лувен, твоя понимай всего много. Скажи мне, болен я или здоров?
- Всякий люди, – ответил Лувен, – есть здоровый люди и больной люди за один раз.
- Что мне нужно? – спросил я. – Панты?

Он долго смеялся: панты он дает для возбуждения страсти при утрате жизненных сил.

- А может быть. – спросил я, – мне поможет Жень-шень?

Лувен перестал смеяться, долго смотрел на меня и в этот раз ничего не сказал, но на другой день так загадал:

- Твоя Жень-шень расти-расти, моя скоро тебя покажи будет.

Лувен зря ничего не говорил, и я стал ждать случая своими глазами наконец-то увидеть не порошок только этого лекарства, а самый корень, растущий в тайге. И вот раз глубокой ночью лайба с лаем бросилась в глубину распадка. Лувен вышел за ней из фанзы, и вслед за ним я вышел с винтовкой.

Возвращаясь из тьмы вместе с лайбой, Лувен сказал:

- Не нада ружье, наша люди.

Скоро пришли к нам шесть хорошо вооруженных китайцев, красивые горбоносые маньчжуры с винтовками и большими ножами.

- Наша люди! – сказал мне еще раз Лувен и по-китайски тоже, показав на меня, наверно, то же и им про меня: «Наша люди».

Маньчжуры приветливо мне поклонились, и очень высокие люди, наклоняясь, один за другим вошли в наше маленькое жилище. Там они все сели в кружок, положили что-то на пол, что-то немного поделали и все сразу замерли в созерцании.

- Лувен, – сказал я потихоньку, – можно и мне посмотреть?

Жень-шень. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

Лувен опять сказал по-китайски наши люди, маньчжуры все обернулись ко мне с величайшим почтением, раздвигаясь и приглашая меня тоже сесть и на что-то смотреть, как они.

Вот тут-то я и увидел впервые Жень-шень, корень жизни, и столь драгоценный и редкий, что для переноса его назначено было шесть сильных и хорошо вооруженных молодцов. Из лубка кедра был сделан небольшой ящик, и в нем на черной земле лежал небольшой корешок желтого цвета, напоминающий просто нашу петрушку. Все китайцы, пропустив меня, снова погрузились в бессловесное созерцание, и я тоже, разглядывая, с удивлением стал узнавать в этом корне человеческие формы: отчетливо было видно, как на теле расходились ноги, и тоже руки были, шейка, на ней голова, и даже коса была на голове, и мочки на руках и ногах были похожи на длинные пальцы. Но приковало мое внимание не так совпадение вида корня с формой человеческого тела, – мало ли в капризных сплетениях корней можно увидеть каких необыкновенных фигур! Приковало меня к созерцанию корня молчаливое воздействие на мое сознание этих семи человек, погруженных в созерцание корня жизни. Эти живые семь человек были последними из миллионов за тысячи лет, ушедших в землю, и все эти миллионы миллионов так же, как эти последние живые семь человек, верили в корень жизни, многие, может быть, созерцали его с таким же благоговением, многие пили его. Я не мог устоять против этого внушения веры, и как все равно на берегу морском отдавался на волю какого-то большого планетного времени, так точно теперь отдельные жизни человеческие были мне как волны, и все они ко мне, живому, катились, как к берегу, и как будто просили понимать силу корня не по себе самому, которого скоро тоже размочит, а в сроках планетной и, может быть, еще и дальнейшего времени. Впоследствии я узнал из ученых книг, что Жень-шень – это реликт из аралиевых, что общество окружавших его растений и животных в третичный период земли теперь неузнаваемо переменилось, и вот это знание не вытеснило во мне, как это часто бывает, волнения, внушенного верой людей: меня и теперь, при всем моем знании, по-прежнему волнует судьба этой травки, за десятки тысяч лет переменившей в обстановке раскаленного песка на снег, дождавшейся хвойных деревьев и среди них медведя...

После долгого созерцания маньчжуры вдруг все разом заговорили, заспорили, как я понял, о разных мельчайших подробностях в строении этого корня. Может быть, они спорили о том, что вот такая-то мочка лучше идет к корню мужскому и украшает его, а к корню женскому, напротив, она не идет, и не лучше ли осторожно совсем ее удалить. Таких вопросов могло быть великое множество, многие внезапно возникали и перебивали сложившееся суждение, возникал резкий спор. Но всякое такое столкновение мнений Лувен в конце концов с улыбкой разрешал, и с ним непременно все соглашались. Лувен теперь больше не вспыхивал, а ровно жил, царствовал, как царствует всякий, в совершенстве овладевший знанием своего предмета. Решению Лувена все беспрекословно подчинялись. Когда страсти совсем улеглись и началось спокойное обсуждение, я решился наконец спросить Лувена, о чем у них теперь идет разговор.

– Многа-многа лекарства, – ответил Лувен.

Значит, разговор теперь шел о деньгах, сколько могло стоить такое редчайшее сокровище. Лувен рассказал, что один бедный искатель корня Жень-шень нашел этот корень и был убит, а сокровищем завладел машинка, значит – мошенник, и один купеза, значит – купец, приехал на место прямо из Китая, дал много лекарства и нанял этих людей перенести корень. Но, конечно, купеза дал очень немного, а сколько корень стоит – этому нет и конца: каждый купеза будет перекупать и давать больше и тоже брать все больше и больше, потому что каждый купеза есть машинка.

– Чем же это кончится? – спросил я.

– Не кончится, – ответил Лувен. – Такой корень гуляй-гуляй. В таком корне многа-многа лекарства. Маленький люди, кто нашел его, спи-спи, а большой люди гуляй-гуляй.

Отдав драгоценный Гуляй-корень под охрану Лувена, маньчжуры улеглись на холодном камне и, вероятно, еще до рассвета ушли.

VI

Станный какой-то гул разбудил меня, очень похоже было на телеграфный столб, как гудит он в непогоду. Но какой же тут, в приморской тайге, может быть телеграфный

Жень-шень. Михаил Михайлович Пришвин [prishvinmihail.ru](http://prishvinmihail.ru)  
столб? Я открыл глаза и увидел Лувена. Он тоже к чему-то прислушивался.

– Ходи, ходи! – сказал он. – Твоя Жень-шень расти будет, моя тебе покажи.

Он был одет, как искатели Жень-шеня из китайцев, во все синее, спереди был привешен для защиты от росы промасленный фартук, назади – барсучья шкурка, чтобы присесть и отдохнуть в сырой день, на голове коническая берестяная шапочка, в руке длинная палка для разгребания листвы и травы под ногами, у пояса нож, костяная палочка для выкапывания корня, мешочек с кремнем и огнивом. Синий цвет дабы, из которой сшиты рубашка и штаны, напомнил мне страшных людей, кто охоту на таких синих китайских искателей называет охотой за фазанами, а на корейцев в белом – охотой на белых лебедей.

– Что это, Лувен? – спросил я, указывая в ту сторону, откуда слышался гул, подобный гудению телеграфного столба в непогоду.

– Война! – без колебания ответил Лувен.

Мы высекли огонь. Я поднялся наверх и там в куче хлама нашел причину войны: там запуталась большая бабочка бражник и гудела при частых взмахах крыльев, как телеграфный столб. Это я показал китайцу, но он найденной причине не придал никакого значения и повторил:

– Такая гу-гу бывает к войне, война ходи будет.

Суеверие, неподвижный остаток каких-то отдаленных, быть может, когда-то живых верований, в моем понимании унижало человека не более, чем унижает иных непобедимая привычка к разным вещам мещанской цивилизации: внутри суеверий и привычек к определенному сорту помаде или формату писчей бумаги можно оставаться живым культурным человеком. Но в этот раз суеверие Лувена больно задело. «Разве газеты, – думал я, – а в наших условиях даже слухи от новоселов не в тысячи раз вернее говорят о войне, чем наши догадки по каким-то знаменаниям природы? И разве шелест жизни от крыльев бабочек у ночного костра сам по себе не меньше говорит о необъятности производящей силы земли, чем суеверное представление?» Раздумывая глубже о причинах особенной неприязни к суеверию в этот раз, я пришел к догадке о том, что легенда многомиллионного народа, существующая уже несколько тысяч лет о корне жизни, до того пленила меня, что я немного боялся проверки ее в личном опыте, безбоязненно применяемом мной ко всяким легендам.

Эта боязнь теперь переходила в раздражение от малейшего соприкосновения с суеверием.

Мы вышли из фанзы еще в полной темноте, направляясь распадком в сторону моря. Если бы даже и рассвело, мы ничего бы не видели от густого тумана, почти постоянного здесь в летнее время. Единственным светом, но только возле самого носа, был свет фонариков летающих светляков. И вот – сила наследственного суеверия: глядя на летающих светляков, я вспомнил о множестве умерших на поле сражения. Я вспомнил о них, как, умирая в муках, они отходили куда-то. «Не они ли это?» – спрашивал я себя, как дикарь. И, вспоминая иных из них, находил в себе ту самую сохраненную мной боль, которую принял от них по сочувствию, и так получилось, что они отошли и летают себе светлячками, а я с их болью остался и, может быть, бессознательно теперь в иных случаях поступаю именно под влиянием этой боли, сохраненной мною при потере друзей на войне. Но доброта Лувена такая, как будто он не случайно при виде летающих насекомых стал о чем-то догадываться, а раз навсегда догадался, всю эту боль принял и, связывая веру свою в лучшую жизнь с силой жизни корня Жень-шень, определил себя на помощь больным.

Так, глядя на летающих насекомых, я по-своему старался отделить и очистить легенду о корне жизни от мертвых и часто в современной жизни вредных суеверий, сохранившихся в нас от далекого прошлого. Летающие насекомые вдруг как-то исчезли, но казалось – это они после себя оставили ровный свет, и от этого света стали нам показываться разные предметы снизу, а не как бывает при рассвете в ясное утро: сначала видишь небо, и только долго спустя – им освещенные сверху предметы на земле. Мы были в горах, у самого моря, и нам скалы показывались из тумана черными фигурами. Я в них читал и прямо видел, как олень-цветок превращается в женщину, а Лувен тоже, наверно, догадывался о чем-то заветном своем. Это нам друг другу совсем не нужно было раскрывать, и оттого мы шли с ним молча, совсем ничем не стесняя друг друга. Во время рассвета холодок резким

Жень-шень. Михаил Михайлович Пришвин [prishvinmihail.ru](http://prishvinmihail.ru)  
ознобом прошелся по телу, и через свое тело, слитое с миром в одном ощущении предрассветного холода, мне стало казаться, будто вся природа сейчас, скинув одежду, умывается. Мне показалось, что и Лувен об этом хотел сказать, когда вдруг остановил меня, сделал ладонями, будто он умывается, после чего развел руками в значении «везде, везде!» и сказал:

– Хоросё, хоросё, шибко хоросё!

Вскоре оказалось, это он так предсказывал о погоде: очень часто бывает в тихоокеанском приморье, что даже и очень густой туман внезапно переходит в невидимое состояние и воздух, хотя и насыщенный парами воды, становится совершенно прозрачным. Мы встретили восход солнца на высоком берегу, на тропе, в каких-то густых кустарниках, из которых иногда вылетали красивые монгольские, с белым колечком на шее, фазаны и зачем-то при взлете, случалось, оглядывались на нас и по-своему говорили: ко-ко-ко... Скоро я понял эти заросли, отчего они были такие низенькие и страшно плотные. Это море с тайфунами сотни лет било скалу и добилось все-таки жизни: в трещинах скал выросли разные цветы, а потом и дубки. Так море добилось жизни, но что это за жизнь была на первых порах! Те дубки, что поближе к морю, думать не смели хоть чуть-чуть поднять голову вверх, – они росли лежа, ползли тонкими стволами прочь от моря и очень были похожи на волосы, гладко причесанные. Но чем дальше мы отходили от моря, тем выше и выше поднимались дубки, хотя тоже до известного предела: начиная от высоты человеческого роста, все засыхали сверху, образуя сплетением нижних ветвей непроходимую чашу, очень пригодную для жизни фазанов в ту пору, когда молодых надо было охранять очень заботливо от покушений разных хищников.

Отступая от моря в глубину тайги, мы не сразу с ним расстались: мы то спускались, то опять поднимались, теряли и опять встречались с солнцем, как бы переживая новый восход; и так еще было, что берег моря, изрезанный бухтами, загроможденный камнями, проливчиками, давал для солнца все новые и новые ширмы, отчего каждый раз при новом восходе являлись нам все новые и новые фигуры. На последней скале, откуда открывался вид далеко в океан, росли необыкновенно фигурные погребальные сосны, похожие на японские зонтики и на пинии Средиземного моря. Они были такие ажурные, что, кажется, сколько бы их ни скопилось в одном месте, море через них все равно бы виднелось. Там мы с последней скалы через пинии даже простым глазом различали в море головы множества морских зверей.

В самой темной тайге можно бы разглядеть муравья, с добычей своей пересекающего тропинку, когда мы совсем расстались с морем и спустились в глубокую падь. Мы шли по тропе, лишенной всякой растительности, пробитой ногами изюбров, оленей, горалов и коз, а после приспособленной для себя человеком. С той тропы мы свернули в глубокий распадок с безымянным ключиком, постоянно исчезающим в завалах камней и дающим знать о себе оттуда только своей подземной болтовней. Тут, на камнях, едва видимая тропа пересекала ручей то в ту, то в другую сторону, но мы бросили эту неверную тропу и шли от бочага к бочагу, часто прыгая с камня на камень. Лувен часто указывал мне и просил запомнить то отметину на коре бархатного дерева, то залом на колючей аралии, то кусочек моха, вложенный в дупло тополя, все эти знаки были не для каких-нибудь случайных путников, звероловов, охотников и каких бы то ни было таежных добытчиков, – все это было сигналом для других искателей корня жизни: путь этот обыскан, и незачем им тут трудиться. Но этот же путь вел к моему собственному корню жизни, и Лувен показывал мне приметы, чтобы я, неопытный еще в корневании, сам бы мог потом найти без его помощи.

– Что делать, – спросил я, – если тайфун вырвет этот мох из дупла или весенний поток унесет замеченное бархатное дерево, или вот эта щека распадется и завалит весь путь наш камнями?

– Нада иметь чистая совесть в голове, – ответил Лувен.

Я понял, что он говорит о смекалке, и показал ему на щеки распадка, на деревья и травы; все завалит, и никакая смекалка уже не поможет.

– Пропал-пропал голова! – сказал я.

– Голова не нада, – ответил Лувен, – пропал голова, вот где голова.

Он показал на сердце, и стало понятно, что в поисках корня жизни надо идти с

Жень-шень. Михаил Михайлович Пришвин [prishvinmihail.ru](http://prishvinmihail.ru)  
чистой совестью и никогда не оглядываться назад, в ту сторону, где все уже  
измято и растоптано. А если чистая совесть есть, то никакой завал не испортит  
пути.

Мало-помалу высокие щеки распадка стали снижаться, и мы подошли к небольшой  
впадине с болотцем, из которого и выходил ручеек, создавший этот глубокий  
распадок в скалах. Отсюда, с перевала в широкой долине, начинались  
величественные кедры, настолько редкие и с таким низким подлеском, что можно  
было между их стволами проглядывать очень далеко вниз и догадываться по  
солнечным зайчикам, по мелькающим силуэтам и теням крыльев о какой-то особенно  
богатой жизни этой Певчей долины: множество разных мелких певчих птиц распевало  
среди разных деревьев; тут были тополя не менее как по триста лет, иногда  
подслеповатые, сгорбленные, узловатые, с дуплами, в которые постоянно зимой  
ложился медведи; были гигантские липы, высокоствольные ильмы и пробковое  
дерево.

Певчая долина с гигантскими деревьями, достаточно редкими, чтобы обеспечить  
светом богатую жизнь подлеска, была так прекрасна, что мысль о чистой совести,  
необходимой для верного поиска корня жизни, являлась сама собой. Направляясь  
перед, мы скоро пересекли Певчую долину в северо-западном направлении, и вдруг  
перед нами открылась древняя речная терраса, нисходящая в другую долину,  
покрытую другой растительностью: среди коренастых стволов осокоря тут были  
черная береза, ель, пихта, граб, мелколистственный клен, и дальше, когда мы прошли  
этот густой лес, перевитый лианами лимонника и винограда, в третий раз  
переменилась растительность на берегу какого-то неизвестного ручья: тут  
впережку с широколистственными ореховыми деревьями были только изредка кедры:  
редкие крупные деревья утопали в густейших зарослях крушинника, бузины,  
черемухи, дикой яблони, под сенью которых, среди буйных тенелюбивых трав, где-то  
и надо было искать корень жизни Жень-шень.

Мы тут отдыхали с Лувеном и долго молчали. Что было в тишине при нашем долгом  
молчании? Бесчисленное множество, неслыханное, невообразимое число кузнечиков,  
сверчков, цикад и других музыкантов устраивали, все время играя, эту тишину: их  
совсем не слышишь, если найдешь в себе равновесие для свободной и спокойной  
мысли. А может быть, все эти бесчисленные музыканты именно своей музыкой так  
делают, что сам по-своему принимаешь в ней участие, перестаешь их замечать, и  
оттого начинается какая-то настоящая, необыкновенная, живая, творческая тишина.  
И еще тут где-то ручей бежит, тоже, кажется, молча; но если ход спокойной мысли  
от какого-нибудь нечаянного воспоминания оборвется и невозможное желание кому-то  
близкому что-то сказать вырвется даже сильно сдержанным стоном, то вдруг из  
этого ручья, бегущего, вероятно, по камням, быстро вырвется: «Говорите,  
говорите, говорите». И тогда все неслышимые музыканты, многомиллионные,  
бесчисленные, все вдруг с ручьем заодно играют: «Говорите, говорите, говорите!»

И мы заговорили с Лувеном о какой-то птице, стерегущей корень жизни Жень-шень. Я  
догадываюсь, что говорил Лувен об одном из трех видов кукушек, населяющих этот  
край: будто бы эта небольшая, черного цвета кукушица стережет корень жизни и  
видеть ее может только тот, кто увидел своими глазами корень жизни и успел в это  
мгновение воткнуть возле него свою палку. Так очень часто бывает, постоянно  
будто бы случается с искателями корня, что вот только увидел сокровище – и уже  
нет его: Женьшень в один миг превращается в какое-нибудь другое растение или  
животное. Но если ты, завидев его, успел воткнуть палку, он больше от тебя  
никуда не уйдет. Нам, однако, теперь нечего и беспокоиться: этот корень был  
найден тому назад уже двадцать лет, тогда он был очень молод и оставлен расти  
еще на десять лет. Но случилось, изюбр, проходя этим местом, наступил на головку  
Женьшеня, и он от этого замер. Недавно он снова начал расти и лет через  
пятнадцать будет готов.

– Ты сейчас бегай-бегай, – сказал Лувен, – а тогда понимай.

Мы помолчали. Я в этом молчании силился представить себе, что будет со мной  
через пятнадцать лет, и мне представилась встреча. Прошло ведь пятнадцать лет  
раздельной жизни, мы едва-едва и со страхом узнали друг друга, стоим, смотрим  
растерянно и ничего не можем друг другу сказать.

Ох! и больно же стало! Но как только вырвался «ох!» – вдруг из ручья:

– Говорите, говорите, говорите!

А вслед за тем все музыканты и все существа Певчей долины заиграли, запели, вся живая тишина вдруг раскрылась и позвала:

– Говорите, говорите, говорите!

– Через пятнадцать лет, – сказал Лувен, – ты молодой человек и твой мадама молодой.

После того мы встали, по стволу дикой яблони, склоненному над ручьем, перешли на тот берег, и там скоро среди разнотравья Лувен стал на колени и, сложив руки ладонями, долго стоял. Я был так взволнован, что невольно опустился с ним рядом, представляя себе, будто стою где-то у самого источника творческих сил. Мысль моя, согласованная с ударами сердца, была совершенно ясна, и сердце билось согласно всей музыке тишины. Но скоро сам собой наступил срок: Лувен раскрыл травы – и я увидел... Было несколько листиков, похожих на человеческие ладони с пятью вытянутыми пальцами, на невысоком и тонком стебельке. Для такого нежного растения был опасен не только изюбр со своим грубым копытом, но даже и муравей. Если бы ему зачем-нибудь понадобилось, мог бы в короткое время еще на множество лет остановить эту жизнь. Сколько же случайностей за пятнадцать лет грозили этому растению и жизни моей!

На прощанье Лувен указал мне зарубку на стволе кедра; от этого кедра до корня был ровно локоть, и с другой стороны, от ствола бархатного дерева, был локоть, с третьей стороны зарублен был дуб, и с четвертой – акация.

## VII

Раз я вышел в тайгу попытать свое счастье в пантовке: так называется охота на самцов пятнистых оленей, или изюбров, когда их рога – панты – налитые кровью, уже достаточно отросли, но еще не окостенели. Эта охота чрезвычайно добычлива, есть панты ценою более тысячи золотых иен. В то время как охотники начинают добывать панты, самки уже выводят своих маленьких на покати гор. Но самцы редко показываются и держатся на северных склонах – в сиверах, прячутся в кустарниках, стоят часто очень долгое время неподвижно, вероятно, из опасения потревожить чувствительные ко всякому прикосновению панты. Туманная гора, куда я шел в тот раз, почти вся была открыта, и только самая вершина ее черная расплывалась в тумане. Гора эта с трех сторон окружена морем, очень похожа на погасший вулкан и, вероятно, была им не очень давно: не раз на берегу бухты находил я пемзу. Гора была, конечно, сильно размыта и со всех сторон на боках прорезана глубокими паадьми и распадками. В этих паадах, конечно, и укрывалось и зверье, и особенная реликтовая растительность, и все эти драгоценные для охотника пади сходились наверху почти в одну точку, и вся гора была узлом этих богатых и зверьем и растительностью падей. Теперь я шел берегом моря на юго-запад, куда выходили три красивейшие пади Туманной горы – Голубая, Запретная и Барсова. В глубине каждой из них бежит ручей, создатель самой пади от верху до низу; по ручью вниз, под укрытием от всех ветров, кроме южного с моря, сохраняются драгоценные реликты отдаленных эпох; а наверху, на ребрах падей, задорно играя с тайфунами, красуются погребальные сосны. С берега моря левой стороной Голубой пади я поднялся на самый верх Туманной горы и тихо шел по кряжу, как тигры ходят и барсы[3], чтобы сверху им все видеть по сторонам. Там и тут, и в Голубой пади и в Запретной, я видел оленей, но все это были лапки с маленькими, по две, по три; иногда среди них был саёк, годовалый самец с тоненькими рожками-шпильками. Вдруг в глубине пади, которую после я стал называть Барсовой, мне послышались крик, стон и храп. С хребта я бежал туда по россыпи очень быстро, стараясь не шевелить и не ронять камней, перескочил в кусты, начал скрадывать и скоро увидел против себя, на той стороне пади, через кусты, какого-то желтого зверя. Он почуял меня и нехотя, ленивой рысцой побегал наверх, то показываясь, то исчезая в дубовых кустарниках. Я ожидал, пока он откроется весь в россыпях, но там он залег, как это умеют делать хищники из породы кошек: из-за камней виднелись только глаза. На таком расстоянии эта цель закрывалась мушкой, и невозможно было убить. Я поспешил тогда перебраться на ту сторону пади, посмотреть, какая же это жертва попала желтому зверю. Чтобы не сбиться, я наметил себе вехой особенной формы пинию. Под самым этим деревом на весу лежал громадный камень, кажется, – тронуть – и полетит вниз, сшибая по пути все, что ни попадет. Думалось, вот за этим именно камнем и была кровавая расправа. Мне пришлось туда добираться на вытянутых руках, хватаясь за молодые пинии. Я не ошибся: за камнем я увидел распростертого пантача с роскошными и, к счастью, совсем не поврежденными пантами. Я не раз слышал от Лувена, что ценность пантов зависит не так от массы

Жень-шень. Михаил Михайлович Пришвин [prishvinmihail.ru](http://prishvinmihail.ru)  
их, как от формы, и самое главное в форме – это полная согласованность правой и левой стороны. Кажется, это не суеверие и не прихоть моды: при малейшем повреждении какой-нибудь стороны животного соответственно с этим по-разному развиваются отростки на той и на другой стороне, и, значит, если лекарственная сила пантов зависит от здоровья животного, то об этом отчасти можно судить по форме пантов.

Я наломал как можно больше лапнику с горных пиний, укрыл оленя от проникающих сюда лучей солнца, а сам пошел выслеживать леопарда. Камень, под которым спрятался зверь, был похож на громадного орла. Я сделал далекий обход по хребту, узнал замеченный камень и стал осторожно скрадывать, каждое мгновение готовый схватить зверя на мушку. Но барса под камнем больше уж не было. Тогда я по кряжу обошел все плато, бывшее когда-то, может быть, кратером вулкана, – нигде барса не было. Я сел отдохнуть возле одной необыкновенно ровной, как будто отполированной плиты горного сланца, и когда смотрел на нее против солнца, то заметил на пыли, покрывавшей плиту, намек на отпечаток мягкой лапы красивого зверя. Много раз я ставил свой глаз по разным направлениям, и сомнений у меня не оставалось никаких: леопард проходил по этой плите. Конечно, мне было известно, что тигры и леопарды ходят по хребтам, и наблюдение следа на плите мне еще ничего не давало теперь: прошел куда-нибудь и скрылся в камнях, найти без следов невозможно. Тогда я перевел глаза на красивый мыс у подножья Туманной горы и стал разглядывать его скалы, украшенные точно такими же красивыми и задорными соснами, как и все ребра южных падей. Я мог отсюда разглядеть, что на этом узком мысу, покрытом низкой, но любимой оленями травой, паслась ланка, и возле нее в тени куста лежал желтый кружок, можно было догадаться о нем: олененок. Вдруг там, где прибой швыряет свои белые фонтаны, стараясь дохватить и попасть в недоступные темно-зеленые пинии, поднялся орел, взвился высоко над мысом, выглядел олененка и бросился. Но мать услышала шум падающей громадной птицы, быстро схватилась и встретила: она встала на задние ноги против детеныша и передними старалась попасть в орла, и он, обозленный неожиданным препятствием, стал наступать, пока, наконец, острое копытке не попало в него. Смятый орел с трудом справился в воздухе и полетел обратно в пинии, где у него, вероятно, и было гнездо. Было время около полудня, становилось жарко; в этот час олени с открытых пастбищ переходят до вечера в места постоянного своего пребывания, прячутся в распадках среди тенистых деревьев. Вот и эта ланка, единственная на мысу, подняла своего олененка и повела его с мыса Орлиное Гнездо прямо к тому самому распадку, где укрывалась наша фанза. Я почти не сомневался, что это была Хуа-лу, и вот какие разные чувства вдруг разом вспыхнули во мне, сменяясь, как свет и тени на бегущих внизу волнах океана! Но вдруг эти чувства мои были перебиты мыслью, определившей потом всю мою деятельность в этом краю. «Мыс Орлиное Гнездо, – думал я, – не имеет никакого выхода для оленя, кроме узенького, в какие-нибудь сто метров, перешейка, и если этот перешеек заградить частоколом, то оленю останется единственный выход – броситься с отвесной высоты в море и вплавь достигнуть берега. Но и это был бы тоже не выход: внизу то показываются из воды, то прячутся черные острые камни, и всякое живое существо, упав на эти страшные рифы, неминуемо разобьется». Вот эта мысль мне пришла в голову и незаметно для меня начала прорасти и заполнять всего меня. Отдохнув, я решил осторожно еще раз обойти все плато по хребту, приглядываясь к каждому рыжему пятнышку: авось за это время зверь надумал что-нибудь... Мне было видно, как ланки там и тут переводили своих малюток с пастбищ в родные распадки, а то просто тут же у пастбищ находили себе временный приют в дубовых кустах. И сколько тут раз приходилось видеть, как пятнистый олень, войдя в тень даже и не очень густолиственного дерева, благодаря своим защитным пятнам-зайчикам становился невидимым. Тут, в тени, они проводили время, то скусывая листики винограда, то вычесывая копытцем задней ноги клещей-мучителей. Нигде я не мог рассмотреть леопарда и пришел в конце концов к той же самой плите и опять присел возле нее. На досуге я снова стал присматриваться к отпечатку барсовой лапы и вдруг заметил рядом с первым отпечатком другой, и еще более отчетливый. Но мало того: на том, другом, следу, приглядываясь против солнца, я увидел – торчали две иголки, и, взяв одну из них, узнал шерстинку из лапы барса. Солнце за время моего обхода, конечно, стало немного под другим углом падения посылать свои лучи на плиту, и я мог допустить, что тогда пропустил другой след, но шерстинок я тогда не мог не заметить, – шерсть явилась во время второго обхода, и, значит, барс все время крался за мной. Это было согласно и с тем, что приходилось слышать о барсе и тигре: это их постоянный прием – заходить в спину преследующего их человека.

Теперь нечего было терять времени. Быстро, чтобы орлы не проведали об укрытом олене, я поспешил к Лувену и, к счастью, застал его дома и, к его большой



Жень-шень. Михаил Михайлович Пришвин [prishvinmihail.ru](http://prishvinmihail.ru)  
радости, рассказал ему о добытом пантаче. Мы направились туда сокращенным путем крутой падью наверх. Там, на высоте, мы с Лувеном тихо, разглядывая каждый камень, обошли кругом по хребту все плато, и против плиты, чтобы скрыть свой след, при помощи длинной палки я прыгнул вниз и еще раз прыгнул до первого кустика и там притаился в заветрии. Лувен продолжал свой путь по кряжу, а я, утвердив локти и дуло винтовки на камнях, стал ждать. Немного спустя на голубом фоне неба против себя я увидел черный силуэт ползущего зверя: громадная кошка ползла, не подозревая, что я на нее смотрю из-за камня через прорезь винтовки. Лувен, конечно, если бы даже и глядел назад, едва ли бы мог что-нибудь заметить. Когда барс подполз к плите, встал на нее, приподнялся, чтобы поверх большого камня посмотреть на Лувена, я приготовился. Казалось, барс, увидев одного человека вместо двух, растерялся, как бы спрашивая окрестности: «Где же другой?» – и когда, все кругом расспросив, он подозрительно посмотрел на мой куст, я подвел мушку к его переносице и, затаив дыхание выстрелил. Зверь лег на плиту, опустив голову между лапами, хвост его сделал несколько движений, и все походило теперь, будто он притаился, чтобы сделать свой роковой прыжок.

Какой прекрасный ковер мы добыли, но не этой ценной шкуре обрадовался Лувен: в его таинственной, смешанной с бесчисленными суевериями медицине какую-то важную роль играли сердце леопарда, печень и даже усы. Однако и это все драгоценное он забыл, когда увидел панты убитого оленя.

– Многа-многа лекарства! – говорил он, вырубая панты из черепа вместе с лобовой костью.

И на вопрос мой, почему он не срезает панты с коронок и берет их с костью, ответил:

– Так моя хочет взять три раза больше лекарства.

Ценность пантов, оказалось, бывает в два или три раза больше, если их вырезать с лобовой костью. Те, простые, срезанные с коронок панты идут только на лечение как лекарство, а лобовые панты – игрушка, это подарок, залог семейного счастья, в самых богатых китайских домах они хранятся под стеклянным колпаком; и когда от времени сохраняют эти панты только форму, то эта видимость, труха будет подавать хозяину надежду в глубокой старости поднять свою страсть.

– Это панты гуляй-гуляй, – сказал Лувен, – и многа стоят лекарства.

Как и особенно ценный Жень-шень, гуляй-панты, нарастая в цене, обойдут много разных рук, разных «купеца», пока, наконец, самый богатый и ловкий «машинка» не принесет их к самому сильному мандарину, незаметно сунет их в левый широкий рукав, а правой рукой мандарин сделает для купезы какое-то приятное дело.

– Мандарины тоже машинка? – спросил я.

– Мандарины гуляй-гуляй хочет, – ответил Лувен.

Мы нагрузили на себя мясо оленя, взяли его пятнистую шкуру, драгоценные панты, сердце, печень, усы, ковер леопарда, и когда, спускаясь с Туманной горы, были против Орлиного Гнезда, посмотрев туда случайно, я увидел там... Мысль моя, незаметно работавшая усиленно в эти часы, получив теперь себе на помощь дорогой материал, стала от этого ясной, и я сам утвердился в себе, и мне стало вдруг почти хорошо.

А увидел я то, что видел Лувен, прожив тут тридцать лет, множество раз: я увидел, как олень-цветок вступала через переузок на пастбище Орлиного Гнезда.

Указав Лувену на ланку, я сообщил ему простой план добывать постоянно много лекарства, и он в совершенном восторге сказал:

– Хоросё, хоросё, капитан!

И это мне было материалом для долгого размышления, и окончательно я и до сих пор того вопроса еще не разрешил: почему именно с того самого момента, когда я сообщил Лувену о своем маленьком открытии, он начал постоянно называть меня капитаном?

VIII

Лувен каким-то способом поймал прекрасного фазана и принес мне его показать.

– Давай кушать, – сказал я, зная, какое прекрасное белое мясо у монгольских фазанов. Лувен отвечал:

– Кушать любии-любии не могу контрами [4], капитан. Я отрубил фазану голову. Он сказал:

– Хоросё, капитан!

И принялся щипать. А потом мы, засыпав суп рисом, вместе с ним ели и наслаждались.

Конечно, это очень маленькое дело – отрубить голову фазану, но все-таки, раздумывая, почему же именно я вдруг для Лувена стал капитаном, не мог я не присоединить к материалу и это маленькое дело: свойство капитанов, оказывалось, не только делать открытия, но и рубить головы. Лувен, по-видимому, пришел в тайгу не тем глубоким и тихим человеком, каким он сделался в поисках корня жизни. Когда-то он вместе с китайцами-звероловами ловил оленей, изюбров и коз ужасной китайской лудевой; валил деревья тесно корнями друг к другу, оставляя кое-где между ними свободные места для пробега животных: тут, в этих свободных местах, были закрыты прутьями ямы, и в них животные падали, часто ломая себе ноги. Лувен настигал оленей по насту со своей маленькой собачкой, такой злющей, что она впивалась в бок оленю и мчалась с ним, пока он, изрезав вконец ноги о наст, не останавливался. С такими легкими собаками китайцы старались загонять по насту оленей в море и там на лодках ловили их и скручивали в воде веревками. Пойманных оленей держали у себя и кормили до тех пор, пока у них не отрастали панты, и потом, срезав ценные панты, убивали на мясо. Но трудно было теперь представить себе то время, когда Лувен вместе с другими китайцами-звероловами так жестоко расправлялся с редким, вымирающим зверем только для того, чтобы достать для богатых людей гуляй-панты. Так жизнь свою в тайге он начинал звероловом и, конечно, уж лучше мог разбираться в следах зверей и по следам догадываться о планах зверей, да, пожалуй, даже и сам мог по-звериному думать. Но я не испытывал к этому опыту таежного следопыта того благоговейного удивления, с которым некоторые говорят о таких следопытах. Я же – как химик, следопыт в тысячи раз более сильный, чем все эти таежные следопыты, взятые вместе. Что мне это знание дикарей-следопытов, если я могу сделать химический анализ любого вещества по качеству и вызнать количество его составных частей с точностью до четвертого знака! Мало того: я могу в любую область направить свое испытующее внимание, как в химии, и в короткое время обогнать любого следопыта, истратившего всю свою жизнь на личный опыт в одном каком-нибудь деле. Нет, не это испытующее внимание к жизни тайги дивило меня в Лувене, а то родственное внимание, с которым он относился ко всякому существу в природе. Меня удивляло не то, что он мог разбираться в жизни тайги, а все на свете оживлять. Видимо, какой-то глубокий перелом произошел в его жизни, отчего он бросил свое жестокое дело и это губящее жизнь дикое звероловство переменял на поиски корня жизни. Есть переживания, о которых никогда не следует ни рассказывать, ни спрашивать: сами по себе они мало говорят. Человек своей деятельностью рассказывает об этих своих глубочайших переживаниях, и другой человек, друг его, сам догадывается, рассматривая эти дела. Мне было известно, что у Лувена на руках была большая семья брата, и я часто думаю, что Лувен был глубоко обижен при каком-нибудь семейном разделе и ушел в тайгу смертельным врагом родного брата. Быть может, первые десять лет своего звероловства он истратил только на то, чтобы доказать своему отцу, считавшему его негодным работником, что средства к жизни он может добывать трудом своим лучше, чем брат. И вот прошло время, он приехал в Китай с доказательством в руках к отцу и с презрением к брату, а и доказывать было некому, и презирать было тоже некого: после какого-то страшного мора, как это постоянно бывает в Китае, осталась в живых только жена брата Лувена с кучей маленьких детей. Очень возможно, что с этого разу и переменялся Лувен. Была раньше его жизнь для доказательства, а то вдруг стало некому доказывать. Я слышал потом от китайцев много подобных историй. И если бы то же услышал я от самого Лувена о себе, то все-таки меньше бы это сказало мне, чем два великих тополя возле фанзы, посаженных когда-то руками Лувена. Как он радостно с ними встречается и бормочет всегда какие-то свои китайские слова разным, сидящим там, в зелени, в ожидании его, существам! Любимая его ворона была не серая, как у нас, а черная. Подумаешь с первого разу: «Вот грач!» – а потом присмотришься и вспомнишь, что у грача бывает нос белый, а тут он черный. «Так это ворон!» И

Жень-шень. Михаил Михайлович Пришвин [prishvinmihail.ru](http://prishvinmihail.ru)

вдруг из того черного ворона и крикнет наша обыкновенная серая ворона. Очень она была умная и, бывало, когда Лувен уходит в тайгу, долго провожает его, перелетая с дерева на дерево. Еще голубая сорока жила на дереве, пересмешник, зимородок, дрозды, иволга, кукушка, прибежала перепелка и кричала в кустах не «пить-полоть!», как у нас, а вроде как бы: «му-жи-ки!» И так все до одной птицы были видом точно как наши, сразу узнаешь, а что-нибудь одно маленькое в них так – и не так. Скворец тоже и черный, и нос желтый, и радужные отливы на перьях и тоже, как петь собирается, весь растопорщится, и вот-вот, думаешь, с волнением ожидаешь, как он по-нашему по-весеннему защелкает, – и ничего не дожدهшься: хрипит, и больше ничего. А кукушка кричит не ку-ку, а ке-ке. Со всеми ними Лувен беседовал по утрам, подкармливал, и мне очень нравилась эта дружба и какое-то родственное внимание ко всем живым существам. Особенно нравилось мне, что это не было у Лувена как-нибудь из-за чего-нибудь или навязывалось другим как хорошая жизнь, ни о каких примерах он не думал, а так все само из него выходило. И так ему попался фазан, конечно же, надо бы съесть, но как это сделаешь, если надо «контрами»? Вот он просит сделать «контрами» человека, более для того способного, капитана. Зато с каким удовольствием узнал он, что сам капитан возмущается истреблением прекрасного исчезающего зверя, что он хочет охранять его и разводить!

Выполняя мой план, мы тут же, в своем распадке, нарубили много виноградных, лимонных и всяких лиан, закоптили эти веревки на огне, чтобы зверь далеко чуял эту копоть, узнавал в ней человеческий истребительный замысел и побаивался. Тут же мы сделали санки, чтобы можно было на них навалить все эти лианы и везти одному человеку. Далеко до рассвета я был на Туманной горе, дождался, когда олень-цветок провел своего олененка на мыс Орлиное Гнездо, и развел сигнальный огонь. Спускаясь после того, я не достиг еще и половины Туманной горы, когда Лувен занял место на переузинке, и дело ланки-матери было кончено: она скорее бы бросилась в море на острые камни, чем решила идти прямо на человека, она была заперта, и с этого разу мыс Орлиное Гнездо сделался маленьким и самым красивым в мире скалистым зоопарком. Мы до ночи работали, перетягивая свою копченую веревку из лиан поперек переузинки. Утром, прячась за камнями, мы дождалась часа, когда олени с пастбищ переходят на свои родные тенистые места в распадках, и увидели, как олень-цветок спокойно шла к выходу по оленьей тропе на скале. Вчера мы той тропой ходили на мыс, чтобы срубить себе для столбиков одну пинию. Теперь ланка дошла до наших следов, остановилась, раздула ноздри, что-то почуяла внизу и наклонилась. Потом она высоко подняла голову, при чуяла по воздуху запах копченой лианы, взгляделась в место нашего пребывания, уверилась в опасности, свистнула, побежала обратно, и за ней в дубовых кустарниках, не упуская из виду ее белого раздутого зеркала, кое-как запрыгал и олененок.

Теперь я был уверен, что эта ланка-мать и была моя Хуа-лу: левое ухо у нее светилося дырочкой. Проводив ее глазами, мы, веселые, вышли из своей засады и с этого же пазу приступила к ежедневной работе над изгородью. Так мы добровольно соединились: я, обученный европеец, с точки зрения китайца – капитан, способный быстро во всем разбираться, придумывать новое, делать неожиданные открытия, и этот старый искатель Жень-шеня, не только знающий тайгу и зверей, но умеющий глубоко их понимать и соединять вокруг них все в тайге своим родственным вниманием. В смысле истинной человеческой культуры я угадывал в нем старшего и относился к нему почтительно. Он, вероятно, видел во мне светлого европейца и относился ко мне с тем радостным удивлением и теплой дружбой, как относятся многие китайцы к европейцам, если только бывают уверены, что европейцы не хотят их насиловать и обманывать. В то время, конечно, я и не подозревал, куда приведет нас начатое дело и что оно наряду с воздухоплаванием и радио есть именно самое новое дело. Приручением животных люди занимались только на заре человеческой культуры и, добыв себе несколько видов домашних животных, почему-то забросили его и продолжали с домашними жить по рутине, а диких стрелять. Мы возвращались к этому заброшенному делу с накопленным за это время безмерным знанием, и, конечно, и мы были другие, и по-другому должно было создаваться дело, начатое на заре человеческой культуры дикарями.

IX

Сибирь начала дышать в нашу сторону, и субтропики южного приморья начали одеваться в сибирский наряд. Давно исчезли все до одного светящиеся насекомые в горах. Фазаны взматерели, вышли из крепких убежищ в причесанных тайфунами дубовых кустарниках и всяких других крепких зарослях. В прохладных утренниках покраснелся лист винограда, ясен стал золотиться. А самое главное, постоянные туманы исчезли, и как у нас солнце весной является, так явилось оно тут осенью –

Жень-шень. Михаил Михайлович Пришвин [prishvinmihail.ru](http://prishvinmihail.ru)  
п какое солнце явилось! Оно светило тут совершенно так же, как светит солнце в Италии, и в этом свете сибирская осень вспыхнула и зацвела гораздо ярче всех весенних цветов обыкновенного нашего климата. В один из первых сентябрьских утренников в тайге заревел изюбр, и раз лунной ночью мы с Лувеном в своей фанзочке слышали рев, потом сухие ударь рогов. А еще было раз: заревел где-то изюбр, и ему в другой стороне ответил кто-то, почти как изюбр. Лувен заметил тонкую разницу между ревом первого изюбра и второго Тигр тоже будто бы может реветь, подражая изюбру, и человек подманивает взволнованного гоним зверя в берестяной рожок; второй должен быть, говорит Лувен, тигр или человек. Мы стали прислушиваться и угадывать, кто ревел – тигр или человек. Скоро первый рев стал приближаться к другому, неподвижному, и все ближе и ближе тесней, тесней, – и все замолкло. Изюбр молча подходит, и только слегка изредка где-нибудь треснет сучок. Тигр залег на опушке полянки и готовит свой ужасный прыжок. Человек взвел курки и, подражая зверю, нарочно треснул каким-то сучком. Страшно замолкла тайга в своем ужасном вопросе: тигр или человек? И вдруг в тишине раздался определенный винтовочный выстрел. Дело решил человек.

Расцветающие, ярко вспыхивающие в обильном свете перед зимней спячкой деревья и этот мучительный рев страдающего зверя, – вот у них, у оленей, какая любовь! Однажды в кустах я нашел два черепа со сплетенными рогами. Силачи-изюбры с восьмиконечными сплетенными рогами погибли в бою за самку, а какой-нибудь плутишка после того был счастлив, – не так ли обидно это бывает и у нас, у людей?

День за днем крепче утренники, горный камыш на рассвете является в кружевах и, только уж когда солнце взойдет, обдастся росой и засверкает каплями. Остается немного ждать, и мороз не будет очень-то бояться утреннего солнца, и кристаллы его засверкают на солнце еще много ярче капель воды. Во время гона изюбров пятнистый олень готовится к своей мучительной поре. Не раз я видел в лучах вечернего солнца в тайге, как рогач-олень терпеливо, заботливо вытирает о дерево шерстинки со своих теперь уже крепко-накрепко окостеневших рогов. Пока ревет изюбр, он готовится к бою, и когда мороз хорошенько проберет спеющий виноград и он делается сладким, пятнистый олень начинает реветь.

Нам надо добыть рогачей для нашего питомника пятнистых оленей, и мы тоже с Лувеном готовимся к гону. Мы хотим приучить к себе Хуа-лу, чтобы во время гона можно было ее выпустить и, когда рогачи из-за нее начнут бой, позвать привычным зовом в берестяной олений рожок, в надежде, что за ней прибегут к нам и обезумевшие от страсти своей рогачи. Горе наше было в том, что на пастбище Орлиного Гнезда в этот год был урожай питательных оленьих трав, и Хуа-лу пробавлялась на нем, не обращая внимания ни на веники наши, собранные из веток самых вкусных для оленей деревьев, ни на зерна кукурузы и сои. Среди метелок горного камыша, уже сов-сем пожелтевшего, она находила низенькую, нам совсем в желтом пастбище не заметную травку и очень просто проводила свое время: то, склоненная к земле, выщипывала эту зеленую травку, то стояла неподвижно в тени дерева, кормила олененка, случалось, лежала и старалась выбирать у себя и у олененка вредных клещей. С какой радостью однажды наконец-то я увидел, что она, почуяв мой след, не убежала, как раньше, а прошлась немного по нем, как будто любопытствуя узнать, не спрятался ли поблизости я где-нибудь, и когда увидела меня, то не бросилась, как олени, очертя голову, а только круто обернулась и тихонько стала удаляться вместе со своим олененком. Другой раз было, когда она почуяла мой след и я заиграл, и она, увидев меня, играющего на берестяном рожке, остановилась и долго слушала. Она старалась понять, к чему это все, но, конечно, в конце концов ничего не поняв, топнула, свистнула и тихонько ушла, вероятно, понимая, что так-то, по старинке, будет верней. Каждый день я непременно играл ей и добивался только того, что она, заслышав рожок, переставала траву щипать и шла на рожок, пока не видела меня, потом долго стояла и слушала: пока я играл, она все стояла, а ее олененок от нечего делать часто, случалось, сосал ее. Но я не мог в первое лето приучить ее подходить вплотную к себе на рожок.

Между тем морозики, хотя и очень легкие, подсушивали и красили все листья. Мелколиственный клен запылал, светло-красный, зажелтели огромные смелые листья маньчжурских ореховых деревьев. А что теперь было на берегу Зусухэ, где я впервые увидел Хуа-лу достающей на задних ногах изумрудный в просвете лист винограда! Там, где летом был целый зеленый аул из заплетенных виноградом деревьев, все эти хижинки теперь от винограда стали красными, и та зеленая куща, где случилось мне провести свой роковой час, особенно выделялась красным и желтым. Раньше казалось – виноград совсем задушил какое-то дерево, теперь стало

Жень-шень. Михаил Михайлович Пришвин [prishvinmihail.ru](http://prishvinmihail.ru)

видно, что дерево и под зеленью винограда достаточно находило себе света и жило: это маньчжурское ореховое дерево теперь из-под красных листьев винограда просвечивало золотом, и всюду: то на красном, то на желтом, там и тут висели чуть тронутые морозом спелые черные кисти амурского винограда.

Однажды ночью Лувен разбудил меня и просил выйти. Он показал мне в ту сторону, где Большая Медведица, опираясь на черную гору углом своей обыкновенной кастрюльки, как бы вытаскивала из-за черного хребта последнюю недостающую звезду своего хвоста. Какие звезды начались! Сколько их сыпалось! Было сухо, прозрачно, морозило, и вот в тишине с горы, из-под Медведицы, послышался совсем особенный звук: он начинался свистом, как обыкновенно у пятнистых оленей, а потом, обратно сирене, с очень высокого свиста рев падал быстро, все более и более густым звуком, на самый низ. На другой, противоположной стороне распадка этому свисту-реву ответил точно такой же, и дальше, на Туманной горе, слышно, ревело еще, и дальше – чуть слышно, как эхо нашего рева, и еще дальше – как эхо нашего эха.

Наступило давно ожидаемое нами время. Начался гон пятнистых оленей.

Рев продолжался до утра, и когда рассвело, мы увидели – на склоне горы, у поляны, стоял большой рогач с заметной черной полосой на спине. Он был очень похож на того Черноспинника, подходившего с другими оленями к ручью, когда я в нем купался. Этот рогач теперь казался издали еще более строгим, чем я видел его тогда. С высоко поднятой головой, он тихонько прохаживался, постоянно озираясь по сторонам и как бы ожидая чего-то в тревоге. Потом, видно, что-то случилось в кустах, и он туда со всех ног бросился, а из куста выскочила лапка, помчалась, и он – за ней, на хребет. Как раз в этот момент из-за хребта прорвались первые лучи восходящего солнца, весь обмороженный горный камыш засверкал, и сверкание всей горы нас ослепило. Когда мы с Лувеном взбежали наверх, то ланка уже спряталась в табунке пасущихся, как – бывает – в играх резвая девушка успеет скрыться и стать недоступной среди подруг. Но вот из-за этой единственной ланки теперь никому из всего табунка нет больше пропуска. Черноспинник медленно ходит. Он еще ночью где-то выкупался в грязи, вероятно, успокаивая насколько возможно свою мучительную страсть. Живот его судорожно сжимается. Ничего не ест. И, видно, никакой отрады, ничего, кроме мученья, не дает ему страсть, и вся жизнь его теперь выходит в почти непрерывном и мучительном реве. Нет ему ни мгновенья покоя. Если хоть одна ланка из гарема вздумает немного отбиться, он сейчас же спешит и возвращает беглянку обратно в табун.

Вдруг олени все повернули головы в одну сторону, и там, из-за сопки, начали вырастать чьи-то рога. Черноспинник насторожился, но рога оказались ничтожными: подходил по следу той же самой убежавшей ланки какой-то средний, самый обыкновенный рогач. Черноспинник не стал даже отгонять, а только поморщил нос, фыркнул, и тот, как вкопанный, стал на склоне, не смея ни на один шаг продвинуться. Чувались следы и по ветру и по земле. Оттуда, с горы, по той же самой тропе рогачи проходили, обнюхивая след ее, и шли вперед, как бы кланяясь, исчезая за последней сопкой и вдруг всем показывая из-за нее свои рога. Но все это были такие, что по одной только игре ноздрей Черноспинника останавливались. Показались и дерзкие. Черноспиннику прихотилось, сморщив нос, выкинув набок серый язык, бежать на них и прогонять. Выли и такие, что их прогонят, а они потихоньку опять начинают наступать, пока сам хозяин гарема не поймет, что нет никакого вреда ему и убытка, если эти поганцы, не шевелясь и довольствуясь лишь пахучим воздухом, будут стоять возле стада. Были молоденькие, со шпильками вместо рогов; те от нечего делать, подражая взрослым оленям, свистели, храпели друг на друга и лоб в лоб долго упирались, стараясь один другого спихнуть с места. Так мало-помалу наладилась обычная в жизни оленей длительная простота, что-то вроде нашего человеческого быта в пору длительного мира: ланки мирно паслись, укрывая в своем табуне хотя еще и неохочую, но близкую к этому ланку, сайки потешно скрещивали свои шпильки, как бараны, упираясь лоб в лоб, рогачи-ассистенты чинно стояли вполгоры, подчиняясь воле могучего хозяина гарема. И вдруг все стадо, что-то при чув необыкновенное, повернулось в сторону к той сопке, из-за которой приходили все рогачи по следу охочей ланки. Скоро все увидели, что из-за сопки наверху начали показываться рога – и какие! Рога медленно выростали, и казалось, все встревоженные олени думали: да когда же конец? Но когда вслед за рогами показалась могучая голова с непобедимым лбом, все положение сразу определилось: пришел самый сильный, властелин тайги. Я тоже сразу же догадался, что могучий олень-рогач был тот самый Серый Глаз, на которого с таким восхищением смотрел я в первый день своего прихода в распадок

Жень-шень. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

Чики-чики. Он и тогда мне казался в сравнении с другими, и даже с Черноспинником, очень внушительным, но теперь шея у него ужасно раздулась, зимняя серая шерсть из-под шеи висела, как борода, кровавые чувствительные панты теперь стали страшным оружием с надглазными отростками, бьющими насмерть врага. Как и Черноспинник, он весь был в грязи, живот его, грязный, забрызганный своею же похотью, конвульсивно сжимался, – зверь был готов на все, лишь бы только сохранить за собой единственное право на продолжение оленьей жизни в новом поколении, зверь был вне себя. Завидев табун, Серый Глаз остановился только на одно мгновение и сразу все понял, и все поняли сразу его: по всей вероятности, силы рогачей были смиренны в боях прежних лет, а может быть, сила просто видна в своем внешнем выражении. Все рогачи, бывшие между стадом и Серым Глазом, так и шарахнулись в сторону. По всей вероятности, у Черноспинника с Серым Глазом были свои старые смертельные счеты и, может быть, неписанный договор о том, что Черноспинник не должен попадаться Серому Глазу, а если встретились, то уж не отступать и биться до всей гибели. Рога, конечно, страшное оружие, но не в рогах все-таки дело, – были случаи, комолый олень ломал ребра рогатому. Но рога Серого Глаза показывали скрытую силу. Зато в злых глазах Черноспинника как будто таился замысел устроить силачу ловушку или подвох: «Себя не пожалею, но и тебе будет не сладко!» Серый Глаз, однако, не хочет тратить времени и открыто, загнув голову, бежит и бьет рогами в рога Черноспинника и лбом в лоб. Черноспинник подался, но выдержал и устоял на ногах, а ведь только бы устоять: если упал даже просто на колени, противник успеет, высвободив рога, воткнуть надглазный отросток в бок, в сердце – и тогда кончено. Биться рога в рога, лоб в лоб можно сколько угодно, лишь бы не ослабеть, лишь бы не упасть. И все обещало бой затажной, изнуряющий, но случилось – во время своего удара Черноспиннику попался под ноги пень, и благодаря упору передних ног в этот пень удалось нанести такой удар Серому Глазу и так неудобно сошлось, что властитель тайги припал на колени. Но Черноспиннику не удалось воспользоваться выгодным своим положением. Поняв смертельную опасность, Серый Глаз мгновенно оправился и с такой силой ударил, что Черноспинник не только упал на передние ноги, но даже и покачнулся, чтоб рухнуть на бок. Казалось, Серый Глаз сейчас же освободит рога и падающему даст в бок с такой силой, что тот, упав, больше уже и не встанет. Так непременно бы и получилось, но вдруг почему-то Серый Глаз стал падать вместе с погибающим соперником, и оба теперь бьются и хрипят па земле, как будто в смертельных конвульсиях.

Трудно было понять что-нибудь в этом событии, но Лувену случилось это видеть, он первый понял, очень обрадовался и бросился как можно скорее бежать за веревками: все это значило, что олени сцепились рогами, и пока не разнялись или не изуродовали себя, мы должны были связать их.

Такая удача, такой удивительный случай!

Но это не дело, если нет счастливого случая, так всегда бывает, а потом приходит случай несчастный... С первого шагу наше дело отлично пошло. Мы сумели связать двух отличных рогачей, в наших руках был властитель оленьего гона. Серый Глаз, и злейший враг его, Черноспинник, и еще четырех рогачей помоложе и двух сайков поймал Лувен в лудеву.

Х

Предрассветный час в моем понимании дается человеку взамен того обыкновенного счастья, когда люди, насладившись близостью или, напротив, измучив друг друга попреками, ревностью, предчувствиями чего-то грядущего, страшного или криком больного ребенка, поутру спят как убитые. Эта обыкновенная смена боли и радости, конечно, и во мне происходит, но в счастье этом строится дом, а в предрассветный час, данный мне вместо счастья, я, соединенный со всеми силами природы в единое целое, делаю то незаметное общее дело, благодаря которому счастливые люди, проснувшись в лучах солнца, часто в восторге говорят: «Ах, какое нынче прекрасное утро!» И я теперь, искушенный в жизненных предрассветных догадках, с уверенностью говорю, что в основе всякого истинного счастья непременно лежит эта незаметная и совершенно бескорыстная работа всех соединенных сил мира в предрассветный час. Я встаю всегда раньше даже Лувена и несколько десятков минут, прислонясь плечом к чему-нибудь твердому, чего-то дожидаясь и думаю, пока не дождусь решения: дней, до точности похожих друг на друга, как два стула, не бывает в природе, день показался один-единственный раз и ушел навсегда. Вот по мере того, как в предрассветный час определяется этот новый, еще никогда не бывалый в своем качестве день, я тоже о чем-нибудь своим согласно думаю, и когда все сойдется во мне, а извне сложится на- ' ступающий день, я выхожу на работу.

Жень-шень. Михаил Михайлович Пришвин [prishvinmihail.ru](http://prishvinmihail.ru)

Впрочем, конечно, бывает – утро как-то размажется, и в нем ничего не поймешь, и мысли не сложатся, и топор мой тюкает просто по-заведенному сегодня, как вчера. Пока на земле еще сумрак, удивительна и необычайна жизнь неба в этом краю осенью и во все зимнее время после непрерывных весенних и летних туманов. По виду зимнего неба, с его силой света итальянского солнца, при рассвете должна бы открыться земля необыкновенно цветистая, но сибирский ветер все погубил, и весь великий свет обращается к морю, и все оно, весь океан голубеет, и чернеются на голубом разные скалы, и на скалах пинии, эти вечные борцы с тайфунами, всегда разные, ни одна на другую не похожие. Потом, когда свету сильно прибавится и откроется по голубому в бесконечность золотая дорога, то и на земле, если встретится хоть какой-нибудь цвет, всякое маленькое, даже блекло-цветистое пятнышко превращается в самый яркий цветок. Вот теперь от всей моей зеленой виноградной кущи, где я когда-то встретил Хуа-лу, осталось одно черное дерево, по сучьям своим обвитое черной виноградной лианой, а там, где в шатре было мое окошко, теперь висит лиана петлей, и в этой петле трепещется единственный лист винограда, быть может и не очень красный, но при таком свете – как кровь. А вот на безжизненном желтом пастбище показываются пятнами, как блюбочки, покрасневшие остатки листьев азалий до того заметно и такие живо-красные, что кажутся кровью убитых оленей: пролилось и осталось красным блюдцем.

Вот озаряется утренним светом вся земля; показываются в лощинах скрытые до сих пор уголки оленьего пастбища, дубовые кустарники со свитыми в серую трубочку дубовыми листьями, – это зимний корм пятнистых оленей, не умеющих, как северные простые олени, копытить траву под снегом. А что, если эти липовые и дубовые заросли снегом завалит? Чем же мы будем в зимнее время кормить своих оленей? С этой тревожной мыслью больше невозможно стоять, прислонясь плечом к дереву. Мы берем топоры и отправляемся рубить веники...

Лувен дал знать в тайгу, и в нашу фанзу пришли китайские рабочие. В загороженном Орлином Гнезде, где свободно паслась одна Хуа-лу, мы построили питомник оленей со стойлами, со двором для выгула и панторезным сараем. Мы целый день работаем, а вечером я вычисляю, записываю, выдумываю конструкцию панторезного станка, множество тут надо было, при нужде нашей в железе, гвоздях, проволоке, придумать всего, чем можно бы заменить крючки, петли, винты. С изумлением смотрю я на китайцев, как они в карты играют: если кому-нибудь приходит счастливая карта и банк достается ему, то он не дает себе труда открыть товарищам карты и показать счастливую, – он просто бросает карты вместе со счастливой в общую кучу и загребает банк. Никто и не думает его проверять, обман невозможен. Так прекрасно. А между тем, если случится все-таки обман, то обманщика не за ухо потреплют, как у нас, а просто убьют, и оттого, боясь смерти, никто не позволяет себе обманывать: как будто и не очень прекрасно... И множество всяких неразрешимых вопросов является; иногда думаешь – оттого нельзя их решить, что для справок нет ни книг, ни людей образованных; на самом же деле, как я потом убедился, вопросы эти при справках с чужими мыслями заглушаются временно и отсрочиваются, но не решаются: вопросы эти невозможно решить просто сидя, – решение этих вопросов в деле, согласном со всей переменной во времени. Главное, что меня разделяет с китайцами, это – что я все считаю, записываю и во всем отдаю отчет себе самому. У них же все на доверии и все в памяти. Довольно только того, что я все считаю, все записываю, вычерчиваю маленькие планы питомника и панторезных станков, чтобы все эти люди звали меня капитаном... Почему это? Да, есть много вопросов, таких острых, так необходимо кажется их решение, а между тем справиться негде. Я хотел бы знать точно, какого именно происхождения моя капитанская власть. Является ли эта власть частью силы капитана всего мира Европы, имевшей уже довольно давно над всеми странами превосходства счета, записи и действия, или я стал капитаном в глазах китайцев просто за одно то, что я, белый, в их глазах являюсь деятелем капитана-капитала... Мне очень много приходит в голову разных вопросов, и невозможность решить их иногда приводит к страданию от одиночества, к такой острой боли, что я лишаюсь способности считать, записывать и выдумывать проекты панторезных станков. В это время старый Лувен всегда мне приходит на помощь, и не прямо, а как-то больше улыбкой всегда сумеет напомнить мне, что мой корень жизни цел и только замер на время: олень копытцем своим наступил на головку ему; пройдет сколько-то лет, и его цвет на стебле непременно поднимется вверх. Я думаю иногда об этом так упорно и долго, что этот корень жизни превращается в легенду, пульсирует вместе с кровью моей, становится силой моей, и вдруг вместо острой боли является такая же острая радость, и мне хочется и Лувена, и всех китайцев-рабочих чем-нибудь тоже обрадовать. На ужасном языке «моя по твоя» стараюсь доказать Лувену необходимость счета и записи для восточных народов, чтобы сохранить все свое для себя и тоже быть капитанами. По доброте своей Лувен

Жень-шень. Михаил Михайлович Пришвин [prishvinmihail.ru](http://prishvinmihail.ru)  
и птиц и зверей понимает, а не только меня.

– Твоя считай, – говорит он, указывая на бумагу, – ты это понимай?

– Да, да, конечно, с пониманием.

– А моя считай понимай нет, наша тебе помогай, так и будет хорошё, хорошё: многа-многа лекарства! Твоя считай, наша тебе помогай!

XI

Когда кончился гон и последняя оплодотворенная ланка ушла зимовать в родные распадки Туманной горы, рогачи, измученные ревом, постоянным хождением в поисках ланок, голоданием, ненавистью друг к другу, теперь как ни в чем не бывало собираются в табунки и отправляются лечиться от ужасной болезни повыше в горы, в кедровники. В то время и мы своих пленников из денников питомника выпустили во дворик, и все они, недавние враги, стали мирно кормиться в длинном корыте, сделанном из одного громадного дерева с пустой сердцевинкой. Тут был могучий Серый Глаз – властитель оленей; буковатый Черноспинник с мрачным загадом в глазах; Щеголь – молодой трехлетний олень, собранный весь в струнку, с очень редкими у пятнистых оленей большими карими глазами; Мигун – небольшой, но коренастый и очень добродушный: если посмотреть ему прямо в глаза, то он непременно мигает; Развалистый и Круторогий, по-видимому – родные братья: у всех оленей пятна разбросаны в беспорядке, а у этих белые пятнышки располагались по красной шерсти правильными рядами, наверно от одной, такой же, ланки. Молодежь, сайков, мы стали звать почему-то просто Мишутками. Выгул оленей представлял собой не совсем маленький двор, совершенно неправильной формы, потому что столбами нам служили деревья на корню. И в самом дворике ни одно дерево нами не было тронут, чтобы в жаркий день пантач мог укрываться в тени. А еще деревья оставались для того, чтобы к ним, в случае нужды, можно было прибить жерди треугольником, и тогда весь дворик приобретал форму треугольника, вершиной обращенного в узкий коридор с денниками; стоило только нажать на оленей в основании треугольника, и они все бы непременно вошли в коридор с денниками. В конце коридора был панторезный станок: это ящик с подвижным дном, олень в нем проваливается и висит, удерживаясь боками в подпорных досках, а ноги его болтаются в воздухе. Так можно было каждого оленя во всякое время поймать для срезки пантов или для взвешивания.

Вся долгая и довольно-таки шумная работа китайцев по устройству выгула, питомника с панторезным станком много задерживала приручение Хуа-лу; в это время она со своим Мишуткой забила куда-то в дебри скал и пряталась между соснами в самом конце мыса. Я там давно уничтожил орлиное гнездо, чтобы хищники не волновали оленей, способных в момент испуга скопом разрушить всякое препятствие и убежать. Когда же на мысу с питомником дело было покончено и снова все затихло, я снес туда, в сосновые скалы, корытца с соевыми бобами и несколько дубовых веников. В скалах есть было нечего, Хуа-лу сильно проголодалась и, конечно, в первую же ночь истребила все бобы и веники. Тогда я передвинул корытце поближе в сторону питомника, еще подсыпал бобов и поиграл немного на берестяном рожке. Вскоре она стала появляться, была вся на виду, и сколько бы я ни играл, все стояла и слушала. Я уже начинал подумывать, что игра на рожке ей доставляет удовольствие, но однажды она осмелилась подойти к корытцу во время игры и, угнув голову, стала есть; с тех пор она постоянно ела и не обращала внимания, играл я или так стоял и наблюдал. Мало-помалу я довел ее почти до питомника, пробовал даже ставить корытце у самых открытых ворот дворика, но сколько я ни играл на рожке, она войти туда не решалась.

Недолго, однако, пришлось с ней возиться. Настало время, когда и всякий вольный олень, если бы только знал, в каких условиях живут наши пленники, пришел бы сюда и сам стал проситься пустить его к корыту с бобами. Был такой день, когда у нас вдруг совсем неожиданно наступила зима. Случилось раз вечером, я увидел наверху группу скал, похожих на оленей, и залюбовался, принимая эту скульптуру за случайную игру света и тени в горах были там три взрослых оленя, две ланки, один рогач, с ними саек и два олененка. Все эти различно поставленные головки веером собирались на фоне вечернего неба. И вдруг одна из этих скал, похожая на оленя, шевельнулась, и мало того, сюда, вниз, долетел чуть слышный олений свист. Оказалось, это были на такой высоте олени, и тоже наверху другой щеки были олени, и на высоких ребрах падей Туманной горы тоже, сливаясь в сумраке с горами, везде были олени. Лувен, увидев оленей на горах, сейчас же принялся поправлять сетку, стягивающую тростниковую крышу нашей фанзы: он был совершенно



Жень-шень. Михаил Михайлович Пришвин [prishvinmihail.ru](http://prishvinmihail.ru)

уверен в том, что если олень вечером вышел на гору, то назавтра быть непогоде. Я тоже по какому-то смутному предчувствию ждал событий в природе. Мне казалось неестественным, страшным, что последние дни совсем не отличались друг от друга, как будто это был один-единственный день, отраженный в зеркалах: тихо-тихо, морозно, безоблачно, и жуть оттого, что над совершенно мертвой, в желтом цвете застывшей пустыней светило-то все-таки итальянское солнце сорок второй параллели! Никем не обжитая земля, неизвестная природа! Мне казалось, будто я попал в край вечной революции, где весеннее солнце днем вызывает движение сока в деревьях, а вечером от мороза обманутый сок замерзает, и все дерево от низу до верху разрывается в трещины. Десятки лет, а бывает, и даже столетия под скалой укрывались могучие деревья, и вдруг развалилась скала, стала россыпью, а тайфун расшвырял деревья, как коробочку спичек. А что делают наводнения! И как это странно, что человек, разумнейшее существо в природе, должен справляться у оленя о завтрашнем дне!

С волнением выхожу я наутро в предрассветный час узнавать, что же нам предсказали олени. И когда начало определяться, то вдруг у меня, как у оленя в панторезном стае, под ногами исчезла опора, спутались страны света, времена года: стало очень тепло, появились летние облака, очень светлые, потом темные, прекрасные, добрые тучи, и началась небывалая здесь за все лето отличная наша гроза с громом и молнией. И так было до вечера.

Казалось, олень обманул; как вдруг вечером стало очень холодно, застыла в ведрах вода, и начался снежный тайфун.

Но что делают горы! Между высокими щеками нашего распадка мы спокойно сидим у огня в своей фанзе, слушаем рев и свист и особенный грохот падающих скал: что-то особенно грохнуло у моря, и мы подумали о скале, висевшей над самой тропой. А то вдруг станет совсем тихо, как будто чудовище Тайфун огромной длины все летело-летело над нами и кончилось хвостом: улетел хвост, и началась тишина. В это время море с великим, каким-то подземным грохотом выкатывало на берег гальку – бесконечное множество своих круглых придонных камней, и скоро эту гальку уводило обратно, и она была недовольна, ворчала и роптала. Море успело так выкатить свою гальку и увести ее обратно раз десять, как вдруг со всем свистом и ужасом, все заглушая, вернулся Тайфун и опять в черноте над нами долго летел, пока вот опять послышался с моря гул и ропот: накатывало гальку и уводило, а Тайфун в это время поворачивался...

Не будь благодетельных юр, наша фанзочка взвилась бы вместе с нами, как фазанье легкое перышко, и все бы олени взлетели, и барсы, и тигры. Но звери еще накануне почуяли опасность и переходили в заветренные места. Там, в оленьих отстоях, они стояли в совершенном безветрии и даже, от нечего делать, стоя заламывали сучки на деревьях. Не раз на охоте в горах я видел эти олени отстой, узнавал их издали и по заламам, и по набитой земле. Но, конечно, мы это предусмотрели и питомник устроили так, чтобы тайфун совсем не задевал наших оленей. Но было страшно думать о Хуа-лу, – весь мыс Орлиное Гнездо продувался, и укрыться можно было только в одном отстое, где был устроен наш питомник: она могла спастись только в нем.

Мой предрассветный час в тот раз помог глазам моим мало-помалу привыкнуть к белому, но и то глазу почти невыносимо было потом сверкание снега при свете итальянского солнца. С меньшей силой, но тайфун продолжался, а нам непременно надо было пробраться в питомник и спасти Хуа-лу. Мы шли между сопками, опасаясь встречи с ветром точно так же, как при скрадывании зверей на охоте, и след наш теперь так странно оставался на снегу. Быть может, где-нибудь теперь и голодный тигр выходил и тоже оставлял свои тигровый след на снегу? Или он предпочитал голод этому ужасу – видеть свои след на снегу? Снег ложился, конечно, только в лощины, на обдувах по-прежнему волновался желтый горный камыш, но переходить эти обдувы нам было трудно: мы их переползали, как ящерицы, и нас таких, ползущих, тайфун хотя и хватал, но не мог оторвать от земли. С последнего обдува мы увидели весь мыс Орлиное Гнездо и порадовались нашим оленям, спрятанным в стойлах, а Хуа-лу со своим Мишуткой стояла в лощине против питомника с таким видом, что вот только ждала, как бы кто-нибудь открыл бы ворота и пропустил ее во дворик. Она там, в лощине, и ушами не повела, когда мы открыли ворота и вошли. Я взял корытце, так хорошо ей знакомое, насыпал туда бобов, поставил на середину дворика. Зацепив ворота веревкой, чтобы можно было потянуть и закрыть ворота, мы с Луеном зашли в пустой денник и для света чуть-чуть приоткрыли выдвигающее окошко. В эту дырочку я стал направлять звук своего берестяного рожка,

Жень-шень. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

а Лувен держал веревку, чтобы дернуть за нее по моему приказанию. При первых звуках рожка у ней подобрили, уменьшились глаза, уши, обычно столь строгие, разошлись кое-как в разные стороны; вытянув шею, она стала перебирать ноздрями и сделала первый маленький шаг. Я еще поиграл, она еще раз ступила, и еще, и еще. У самых ворот она остановилась, впала в раздумье, а я нарочно молчал, чтобы она не очень привыкла к зову. Лучше рожка ее манили сами бобы, теперь уж ей хорошо видные. Помолчав, я вновь заиграл и все этим решил: она тронулась, подошла к корыту, поела немного, и тут я сделал знак Лувену. Он осторожно потянул за веревку, и ворота закрылись для нас совершенно неслышно. Она же, конечно, услышала, обернулась, поставила уши рожками. Ей не показалось странным даже, что ворота были теперь закрыты, ее занимал один вопрос – можно ли беспрепятственно есть бобы? И когда она в этом уверилась, то опять нагнула голову к корыту и стала черными своими губами хватать понемногу приятные желтые бобы.

## XII

Не раз приходило мне в голову во время зимы сходить посмотреть зимой на Жень-шень. С трудом я представлял себе эту жизнь под снегом нежнейших из самых нежных растений субтропиков. Как мог этот корень пережить всю перемену южного климата в такую ужасную сторону? Мне тоже очень хотелось видеть и самую Певчую долину под снегом, послушать ее тишину без птиц и летних музыкантов – кузнечиков, но такая была работа зимой по уходу за оленями, что так и не удалось собраться. Мы занимались кормлением, чисткой денников. Я не могу все-таки сказать, чтобы тот черный труд мне прискучил. У меня никогда не проходило особенное чувство к Хуа-лу, как будто это был не просто олень, а еще цветок, притом особенный, связанный самому мне еще не понятными возможностями моей собственной, еще не раскрытой личности. Да и все другие олени, и все это возникающее большое новое дело было и моим личным делом, и в то же время для себя я от него ничего не ждал и на будущий доход наш смотрел, подобно Лувену, как на какое-то лекарство для будущих, мне еще не известных людей. Мне же лично самое дело было лучшим в мире лекарством. Целыми часами я следил иногда, как Хуа-лу переводила ушами в разные стороны, и я потом смотрел туда, где она слышала; бывало, долго гляжу, пока это не завижу своими глазами. Случалось, орел пролетал или волк проходил, и тогда ее длинные слезницы под глазами расширялись, и от этого ее и так-то прекрасные большие глаза становились огромными. Хуа-лу теперь я не только мог во всякое время гладить между ушами, но даже приучил ее к нашей лайбе: собака всегда присутствовала во дворике при общей кормежке оленей. И все олени к ней очень скоро привыкли и не обращали на нее никакого внимания. Не совсем равнодушна к Лайбе из-за своего Мишутки была одна Хуа-лу. Она отлично понимала, что Лайба не посмеет тронуть олененка, но инстинкт матери заставлял ее все-таки постоянно коситься на нее во время еды, и при всяком удобном случае она старалась собаку подальше отогнать от себя. Лайба, однако, была так увертлива, что ланка никогда не могла попасть в нее своим острым копытцем. Только раз было, Лайбу укусила блоха, и, как в таких случаях поступают собаки, вдруг она забыла все на свете и, сосредоточив свое злобное внимание на одной блохе, стала, сморщив нос, зубами по брюху доходить до блохи, а задние ноги торчали. Это заметила Хуа-лу, подбежала к собаке, подняла переднюю ногу... В то же самое время все олени, Мигун, Развалистый, Круторогий, Щеголь, даже Серый Глаз, даже Чернопинник, бросили есть и с интересом смотрели. В то время я уже начинал понимать их смех, как у них бывает не на щеках, а в глазах что-то мелькает, и особенно было заметно это шаловливое выражение глаз у Хуа-лу, когда она подняла вверх переднюю ногу и с наслаждением легонечко ткнула Лайбу. Что тут было!

Зима была страшна не так морозами, как сильными холодными ветрами. Ни на вершинах гор. ни на ребрах их снег не держался, злые ветры, тайфуны, его сдували, но в лощинах, падях, распадках и горных долинах снегу было довольно, и только благодаря следам на снегу я однажды раскрыл план нападения красных волков и угостил их свинцом. Снег открыл мне раз, что в той самой Барсовой пади, где я застрелил леопарда, жила его самка с двумя барсятами. Раз по намерзи вверху дерева я догадался, что внутри его спал медведь, как оказалось – небольшой, белогорлый. Пришлось однажды видеть на снегу след тигра.

Когда начались сильные холода с ветрами, все олени с сиверов перебрались на солнцепеки и тут кормились в дубовых кустарниках. Умей они, как северные олени, копытами разбивать снег и доставать себе сухую траву, страшной для них могла быть только одна гололедица. Но эти реликтовые звери, по-видимому, не сумели всесторонне приспособиться к суровому климату и при глубоких снежных завалах, в которых исчезают кустарники, они становятся беспомощными существами. Трудно им было! Всего оставалось до весны перебыть какую-то неделю, и вот одна беременная

Жень-шень. Михаил Михайлович Пришвин [prishvinmihail.ru](http://prishvinmihail.ru)

ланка не дотянула, погибла от истощения. Не будь у нее плода, она, конечно бы, осталась жива. И так, я потом заметил, очень часто бывает, что старые ланки кончают свою жизнь из-за плода: животное этим последним роковым усилием как будто диктует наказ всем живым существам стремиться вперед в размножении до последнего издыхания.

Когда при первых весенних туманах обнажились от льда верхние обдувы и на них показался вкусный мох, одна молодая ланочка вышла туда покормиться и наступила на снежный надув, висящий глыбой над морем. Глыба, подморенная весенними туманами, рухнула, но не будь гололедицы, проворная ланка успела бы одними передними ногами выбросить свое тело наверх. Теперь на ледяном крае остались от копыт только царапины. Разбитая ланка лежала на камнях у самого моря: добыча лисиц, барсуков, енотов, а может быть, и самого осьминога.

Много жизней погибло в это трудное переходное время от зимы к лету. Одна ланка, став на задние ноги, доставала себе сухие листки с молодого дуба. Вероятно, от гололедицы, задние ноги ее поскользнулись на своих твердых копытцах, и ланка, падая, попала своей шеей в развилку дуба, и так я нашел ее тут висящей. Еще было, рогач скакнул через дубовый куст. Сложенный из многих тесных стволов, куст пропустил тело оленя, но задние ноги у самых копыт зажало. Да, много и у них бывает несчастных случаев, и больше всего, как я заметил, оленя губит испуг...

Весна – это дождь и туман. Редко бывает, на какой-нибудь час покажется солнце, и то успеет наделать много беды: обманутые теплом деревья начинают жить, а вечером поднятые соки замерзают и рвут древесину.

Невидимо в тумане расплывается и разбегается ручьями снег на горах. Невидимо поднимаются потом могучие травы. И только по слуху можно догадываться о великом перелете птиц. Неделя, две проходят в густейшем тумане, ничего, кроме фанзы, не видно, и вдруг выпал счастливый день: в солнечных лучах открылись зеленые сопки, и – до сих пор была тишина – вдруг во всех сторонах закричали фазаны.

Олени начали сбрасывать старые рога. Сильные рогачи сбросят их раньше, зато у них раньше и новые начинают расти, и к гону они раньше бывают готовы. Много раз в зимнее время Лувен мне рассказывал о каком-то бессмертном олене, который будто бы никогда не меняет рогов. Все легенды и сказки Лувена мне были дороги своим каким-то исходным верным основанием; всегда, слушая его легенды, я старался перевести на свое понимание и добывать из них полезный мне смысл. Вот так вышло и с бессмертным оленем. Когда все олени сбросили рога, и начались первые отелы у ланок, и нельзя было думать о каком-нибудь олене со старыми костяными рогами, я однажды увидел с горы – на пастбище одиноко пасся бессмертный олень с ветвистыми костяными рогами. Мне нужно было разгадать тайну бессмертия оленя, и оттого я, решив вообще никогда не стрелять пятнистых оленей, в этот раз не пожалел убить одного и послал свою пулю. Тогда тайна несменных рогов сразу же и раскрылась: по всей вероятности, во время осенних боев на гону этот рогач потерял свои половые органы, и молодая жизнь, напирющая из-под низу на старые рога, прекратилась, живые рога не росли, а мертвые, костяные, оставались без перемен. Но там, где нет перемен и в старом все остается по-старому мертвым костяком, легче всего видеть бессмертия, да, пожалуй, это самый понятный для всех и правдивый образ бессмертия: мертвые бессменные костяные рога. Я, конечно, все рассказывал Лувену, показал костяные рога и зарубцованное гладкое место у оскопленного рогача. И, конечно, Лувен ответил, что это не тот олень, что бессмертный остается бессмертным и пулей его не убить. Мне в это время мелькнула горькая мысль, что в легендах своих сам Лувен похож на рогача с несменными костяными рогами. Мне было горько, потому что поневоле и как будто даже не из-за самого главного и не по существу, но все-таки я лишился общества этого лучшего человека, наши пути тут расходились, и я оставался I один, и с человеком прекрасным мне было, как все равно среди животных: как их ни люби, как ни сближайся, а все-таки непременно с ними остаешься один, и своим высшим и для себя-то, может быть, и лишним добром с ними обменяться нельзя.

Наши олени, конечно, как и на воле, постепенно один за другим сбрасывали свои старые рога. Первым сбросил Серый Глаз, вскоре за ним Черноспинник, потом Мигун, Щеголь и братья – Развалистый и Круторогий. После того как рога были сброшены, Мигун однажды подошел ко мне с особенным своим писком, согнул свою голову, как будто собираясь поддеть меня на несуществующие рога. Я догадался почесать ему коронки: там, как мне казалось, непременно ему должно чесаться. В этот раз ему очень понравилось. В другой раз он, издали завидев меня, с писком бросился и

Жень-шень. Михаил Михайлович Пришвин [prishvinmihail.ru](http://prishvinmihail.ru) чуть не сбил меня с ног. Я почесал, и мы разошлись. Но в третий раз, разбалованный, подбежал с видом как бы приказания: хочешь – почеси, а нет – я сам почешусь! Конечно, я не стал подчиняться нахалу, а он, желая сам почесать рога об меня, с такой силой ударил меня лбом, что я не только упал, но даже и отлетел к самому забору. Поняв теперь мое ничтожество, Мигун налетел на меня, и, конечно, он бы ударил меня еще раз так, что я и не встал бы. Но в этот момент, когда он нагнул голову для удара, я понял свое положение, мгновенно схватил левой рукой его правую ногу повыше копыта, а правой дал ему в бок с такой силой, что он повалился. Но мало того! Я успел выхватить из забора жердину и так откатал его, что он с этого раза и навсегда сделался смиренным. Он по-прежнему мигал, посвистывал, подставлял коронки для почесывания, но стоило мне только погрозить ему пальцем, и он отходил. Другие рогачи все оставались дикими и не пускали близко к себе.

Много мне пришлось повозиться с весами, но все-таки конце концов я их смастерил и соединил весы с панторезным станком. Когда олень вступал в этот ящик, я нажимал рычаг, и дно станка превращалось в весы. Для опытов я назначил двух, совершенно сходных – Развалистого и Круторого. Одного, Развалистого, я кормил, как свинью, концентрированным кормом и сколько он только может съесть. Другого, одинакового с ним весом, оленя кормил нормально, как всех. Цель моего опыта была узнать, какой лишний вес пантов даст раскормленный олень и нельзя ли таким образом мало-помалу добыть панты большого, неслыханного в Китае веса. И по мере того, как время шло и вырастали панты, мне и на глаз даже было видно, как отлично они наливались кровью у кормленого, как они прекрасно просвечивали своим персиковым цветом и как славно серебрились на них волосики. Да и мало ли у меня было планов? Но самый главный план, моя страстная мечта была в том, чтобы, наработав дорогих пантов, продать их, купить на эти деньги много проволоки и такой проволочной сеткой отрезать от материка всю Туманную гору со всеми ее оленями и врагами их: леопардами, волками, енотами и барсуками. Я представлял себе мое пантовое хозяйство в четырех формах: первое хозяйство – это мой домашний питомник, где пантаци содержатся в неволе до срезки пантов и потом выпускаются во второй отдел, в полупарк, на мыс Орлиное Гнездо; третий отдел – парк Туманная гора; и, наконец, примыкающая к Туманной горе тайга – как постоянный резерв диких оленей. Я мечтал дальше, что я в своем новом деле приручения новых видов диких животных окружу себя, по рекомендации Лувена, китайцами, подобными ему, и сделаю так, чтобы они, оставаясь внутренне независимыми от соблазнов цивилизации, сами бы становились, как европейцы, капитанами и могли постоять за свое.

Может быть, я еще и о многом мечтал, но все эти мечты были, как я их потом стал называть, досрочными. В этом надо всем нам сознаться, что есть сроки жизни, не зависящие от себя лично; как ни бейся, как ни будь талантлив и умен, – пока не создались условия, пока не пришел срок, все твое лучшее будет висеть в воздухе мечтой и утопией, только я чувствую, я знаю одно, что мой корень Жень-шень где-то растет, и я своего срока дождусь.

### XIII

Летняя жаркая сырость. По ночам всюду летают огни. По утрам большие пауки заплетали кустарники, травы; ходишь в тайгу с палкой, расчищая впереди себя паутину. Если случится – утром выглянет солнце, то за один этот час прощайшь недели туманов. Тогда каждая сетка паука, непременно при такой сырости покрытая мельчайшими, одна к одной каплями, превращается в жемчужное тканье удивительной красоты. Случилось в такой час, что ланка пришла к тому камню, где я отдыхал, легкий ветерок обманул ее, и я, лежа сверху на камне, мог наблюдать это в оленьей жизни большое событие. Олененок родился таким же пятнистым, как мать, и эти пятна среди солнечных зайчиков до того укрывали и мать и олененка, что можно было рядом пройти и ничего не заметить. С отелу олененок не мог стоять, и она легла и долго билась над тем, чтобы верно подсунуть вымя к его голове и так подсказать ему. Немало времени прошло, пока теленок понял и начал сосать. Когда ей показалось, что он достаточно окреп, она поднялась, и он тоже поднялся и пробовал стоя сосать, но был еще слаб, покачнулся и лег, и тогда она тоже легла, но больше не подвигала к нему вымени: теперь он сам знал. В это время мне захотелось неудержимо кашлянуть; как я ни бился, как я ни закрывал рот, этот сдержанный кашель она услышала, встретилась со мною глазами и в одно мгновение, не успев даже свистнуть, исчезла. Испуг матери передался маленькому, но, конечно, бежать он не мог, а прилег к самой земле и затаился. Мне кажется, что рассмотреть его, не зная вперед, было невозможно. Желая скрыться, уничтожиться, исчезнуть с глаз врага, он как будто сам поверил в неразгибаемость своего тела,

Жень-шень. Михаил Михайлович Пришвин [prishvinmihail.ru](http://prishvinmihail.ru)

и когда я поднял его, то он в таком скорченном виде и остался, и я положил его обратно, как вещь. Жаль мне было оставить его, но у нас с Лувеном не было коровы, Лувен не пил молока и говорил: «Если пить молоко, то ведь корову надо будет своей мамой считать». Но из этого опыта на будущее время я для нашего дела нашел ценную мысль: в будущем, когда у нас заведутся коровы, мы будем ходить в тайге с Лайбой во время отела и легко находить таких каменеющих телят; выхоженные из таких телят олени, наверно, будут совершенно домашними животными.

Пока ланки растеливались, у пантачей подрастали панты, и мало-помалу у ланок и пантачей началась одинаковая забота: ланка бережет своего олененка, а пантач бережет чувствительные и нежные панты, способные даже при самом легком ударе превратиться в кровавую лепешку. Серый Глаз по росту пантов заметно был впереди, и было одно утро, когда Лувен, посмотрев на эти панты, наверно, не менее часу, сказал:

– Нынче наша резать будет!

И мы стали готовиться к этому большому и рискованному делу: панты Серого Глаза, по словам Лувена, стоили не менее тысячи иен лекарства! Но главное было не в лекарстве, а в самом олене: при неудаче испуганный олень не знает препятствий, он не только панты превратит в красные лепешки, но себе ноги поломает, если только не разрушит препятствие. И нам не у кого было учиться. Сам Лувен срезал панты в старину варварским и тоже рискованным способом: китайцы просто связывали и валили оленя.

Приступая к делу, ужасно рискованному, мы выпустили всех оленей во двор, и в деннике остался один Серый Глаз. Если теперь из денника выпустить оленя, то ему из коридора один ход – в панторезный станок; другой выход из коридора прегражден подвижным висящим щитом. В этом щите есть дырочка, и Лувен, стоящий сзади щита, видит в нее, как я открыл денник и выпустил оленя, а сам ушел в другой конец коридора и там схоронился, как и он, за прикрытием. Я тоже, как Лувен, смотрю в дырочку, в руке у меня ручка от рычага: как только олень войдет в станок, я нажму на рычаг, он провалится, а боковые, обитые мягкой циновкой доски подхватят оленя за бока, и так он останется в воздухе, болтая ногами. Но до этого далеко. Серый Глаз, выйдя из денника, стоит неподвижно в полутемном коридоре: то место, где он обычно выходит на двор, теперь закрыто щитом, а идти в другую, неизвестную сторону очень не хочется. Как быть? Тогда Лувен начинает тихонько нажимать на щит и продвигать его. Олень в колебании – идти в опасную сторону или броситься на щит, разбить его, может быть разбить и себя. Щит приближается, из-за него слышится знакомый ласковый голос:

– Мишка, Мишка!

Лувен всех оленей одинаково зовет всегда Мишками.

Серый Глаз успокоился, решил идти осторожно в опасную сторону. Пройдет и остановится. Лувен нажмет, он еще немного пройдет, и так все ближе и ближе к тому месту, где пол под ним вдруг провалится. Самое страшное, как бы он перед самым станком не понял хитроумной придумки. У него есть еще один выход – просто лечь на пол, и тогда мы почти что бессильны, потому что взять насильем нельзя: ему стоит только прыгнуть – и тогда все пропало. Такая тишина, только чуть-чуть поскрипывают блоки. Наступает момент, когда оленю остается только лечь или рискнуть. Вот передние копыта наступили на живой пол, теперь щит подкатился вплотную и смело нажал. Я нажал на рычаг, что-то грохнуло, и в один момент Лувен, открыв дверцу щита, бросился в станок, сел для верности верхом на оленя, зажатого боковыми досками. Тогда я вышел наружу, поднял колпак, закрывающий станок, и примотал голову беспомощного пантача к планке, распирающей стенки станка. Операция срезки очень болезненна, кровь брызнет фонтаном из-под рук, но боль мгновенна. Молодой олень орет и в ужасе закатывает глаза, но старый гордый олень часто и виду не покажет. И вот какой олень был Серый Глаз: в том ужасном положении, когда ноги болтаются в воздухе и им совсем не за что и не на чем установиться, когда для дикого оленя все погибло, притом с боков чем-то плотно прихвачено, на спине сидит один человек, а другой срезает радость жизни – панты, и это все равно что на глазах матери убивать дитя, – в таком положении! Серый Глаз не только не крикнул, но и глазом не повел, и я, видя пример властителя оленей, сохраняю для себя это как идеал: я видел сам и знаю, что унижительных положений нет, если сам не унизишься.

Жень-шень. Михаил Михайлович Пришвин [prishvinmihail.ru](http://prishvinmihail.ru)

Срезав панты, я развязал оленю голову. Лувен соскочил. Я нажал рычаг, опускающий боковые доски, олень провалился в яму до дна и, получив там опору ногам, как снаряд, вылетел из ямы во дворик. Не проходит после того десятка минут, пока мы рассыпаем в общее корыто бобы, как Серый Глаз уже не чувствует боли и вместо с другими оленями, комолой, жует себе бобы. После трудного дела такая радость охватила меня, что я даже обнял своего Лувена, и он, старый, прослезился от удовольствия.

Вот в то самое время, как мы праздновали победу, страшная беда прокралась к нам в виде маленького, полоса того, очень похожего на белку зверька. Этих бурундуков! везде здесь было так много, что я не обратил теперь никакого внимания на одного, изо дня в день собирающего у нас бобы под корытом. Случилось теперь, что боб лежал возле самого копытца Хуа-лу, бурундук прибежал его взять, но как раз в этот момент Хуа-лу переставила копытца и, сама того не чувствуя, прижала к земле хвост бурундука. Зубастый грызун, конечно, ответил тем, что впился в ногу Хуа-лу, та вздрогнула, глянула, и тут ей представилось, наверно, бог знает что! Так бывает в битком набитом театре, когда кто-нибудь крикнет: «Пожар!» – люди, в точности как звери, почуяв смертельную опасность, ничего не помня, кроме себя, бросаются. Так ужас Хуа-лу, увидавшей на своей ноге черта с хвостом, мгновенно передался всем оленям, и все они, семипудовые, сложной силой в полсотни пудов, притом бросив эти полсотни пудов с силой всех своих ног, конечно, в один раз разнесли забор вдребезги и очутились на воле. Грохот падающего забора, царапины, боль, причиненная ударом о забор, – все это, наверно, для Хуа-лу было нарастанием полосатого черта на се ноге. Она мчалась, раздувая во всю мочь свою белую салфетку, показывая путь другим, и все мчались за ней, и каждый передний следующему за ним показывал свою салфетку, и за всеми ними мчался, подхлестывая, невидимый полосатый черт Бурундук.

Как я потерял себя и как может потерять себя человек! Я бросился в горы искать оленей, как будто бы напуганных диких зверей можно найти. Где только я ни бродил, нигде их не было, но к вечеру, в сумерках, вдруг всех их я увидел высоко над собой, на скале. Повернув голову в другую сторону, я там на другой скале тоже увидел оленей, и так везде было, и у нас в распадке на щеках были все олени и олени. Я чуть с ума не сошел, и добрый Лувен всю ночь не мог ничем меня успокоить.

#### XIV

От всяких неудач и дурных настроений я придумал себе верное средство – в предрассветный час выходить из фанзы и, прислонясь к чему-нибудь твердому, сосредоточивать себя на мысли, что мой корень жизни растет, что для этого нужен срок, и оттого не надо никакой беде поддаваться, а всегда встречать беду как неминуемое и думать о сроке, что непременно рано или поздно срок моих достижений придет.

Мне казалось, что я этим повседневным упражнением; развил в себе сильную волю и навсегда обезопасил себя от позорной слабости перед бедой. И вот при первом серьезном столкновении с жизнью мой хорошо придуманный, но мало испытанный прием изменил мне, и я до того расстроился, что забыл про жень-шень.

На развалинах своего питомника пятнистых оленей сижу я с лайбой, время от времени наигрываю в свой олений рожок. Мне пришло в голову, что будь я хоть сколько-нибудь суеверный человек, расположенный понятное и; простое, но трудно выносимое объяснять себе какими-нибудь непонятными причинами сверхъестественного происхождения, – как не подумать мне тогда о Хуа-лу, что это – ведьма, завлекающая меня красотой своей: она превратилась на моих глазах в прекрасную женщину, и когда я полюбил ее, вдруг исчезла. А когда я наконец-то с большим трудом начал справляться, своей мужской творческой силой расширяя заколдованный круг, вдруг та же самая Хуа-лу разбивает все это вдребезги. И в конце концов появляется какой-то полосатый черт Бурундук. Так вот с отдаленнейших времен нарастает на человеке эта защитная рубашка суеверия: ведьмы и черти сменяются вещами, обстановкой, форматами, и только дети, одни только дети остаются живыми...

И много всего такого проходило в моей опечаленной голове в упадке жизненной волны. А новая волна была не за горами. Лайба давно поглядывала как-то странно назад и потом на меня, как будто там, назад, происходило нечто обычное, из-за чего не стоит беспокоиться, но все-таки там! не просто было назад, а что-то происходило. Почему-то! я молчаливому указанию собаки не придавал значения и занимался своими меланхолическими думами до тех пор, пока прямо сзади меня не

Жень-шень. Михаил Михайлович Пришвин [prishvinmihail.ru](http://prishvinmihail.ru) послышался явный шорох. Тут я оглянулся и... сзади, возле самого меня, стояла Хуа-лу с Мишуткой и подбирала рассыпанные на земле во время разгрома соевые бобы. Что же это за радость была! Но мало того! Бурундук, и не один, а штук пять полосатых чертей, больших и маленьких, тоже усердно занимаются соевыми бобами. Так вот сколько раз у меня в жизни бывало – только-только начнешь прибегать к мудрым толкованиям, к таинственным и далеким силам для понимания и облегчения своей беды, как вдруг жизнь сама перед тобой раскроется и тебе, своему любимцу, из себя самой такой подарок представит, что прямо без памяти ржешь и орешь, и мед на усах и хвост пистолетом. Никогда не забыть мне этого часу, как солнце вышло из тумана и вся орошенная паутина засверкала бриллиантами, жемчугом, и сколько тут было цветов, и какие! Там в жемчужных бусах азалия, там в каких-то алмазных чепчиках саранка и лилия, там строитель серебристой ниточкой захватил этот белый и нежный цветок эдельвейс и тоже притянул его к своему строительству утренней радости. Такое богатство драгоценных камней только в арабских сказках можно найти, но и их удивительная арабская фантазия не могла создать такого богатого, такого счастливого калифа, как я.

Какая глубина целины, какая неистощимая сила творчества заложена в человеке, и сколько миллионов несчастных людей приходят и уходят, не поняв свой женьшень, не сумев раскрыть в своей глубине источник силы, смелости, радости, счастья! Вот сколько же было у меня оленей, и какие! Вспомнить только, как вел себя под ножом Серый Глаз! Но разве я радовался когда-нибудь им всем, как обрадовался бешено, когда пришла одна Хуа-лу? Можно бы подумать, что я в то время понимал, что с помощью Хуа-лу я могу переловить множество оленей, и оттого так обрадовался. Совсем нет! Я обрадовался потому, что разлука с оленями раскрыла мне самому, какие силы вложил я в это дело, я обрадовался потому, что мог теперь снова начать свое необыкновенно прекрасное строительство. Вот мы теперь скоро и радостно с Лувеном заделываем забор и так надстраиваем, чтобы никак не могли олени опять перепрыгнуть и завалить, даже соединенными силами. Теперь мне мало-помалу становится понятным, что приход Хуа-лу из дикой тайги на олений рожок значит для моего дела гораздо больше, чем обладание всеми исчезнувшими рогацами. Я теперь без всякого риска делал ежедневные опыты: утром выпускал Хуа-лу на вольное пастбище, а вечером вызывал ее оттуда оленьим рожком. Мало того: в каждый призыв, давая какое-нибудь заботливо приготовленное лакомство и ей и Мишутке, я добился того, что в любой час дня, стоило мне заиграть, и она рысью бежала по сопкам к питомнику.

Так мало-помалу время опять стало приближаться к осеннему гону, и однажды нечаянно я вдруг догадался, как надо мне действовать, чтобы возвратиться к себе своих оленей, а может быть, и новых добыть. Было раз, на сопку против Орлиного Гнезда пришел табунок ланок, и с ними был почему-то Развалистый с большими костенеющими рогами. Время осени было раннее, еще даже изюбр не; ревел, но и у животных, конечно, как и у людей, бывают баловники. По всей вероятности, хорошо мною раскормленный для опыта олень раньше срока стал баловаться и, может быть, приставать безуспешно к еще совершенно по времени девственным ланкам. Наблюдая из-за прикрытия Развалистого, я выждал время, когда он был за сопкой, открыл тихонечко ворота питомника, насторожил веревку ловушки и выпустил гулять Хуа-лу. Она весело побежала к табуноку, но тут ее заметил Развалистый, подбежал к ней и встретил. Возможно, у них уже некоторая дружеская связь была между собой благодаря необыкновенной для оленей жизни в питомнике. Но она, конечно, позволяла себя обнюхивать до известного предела: как только раскормленный рогач перешел границу, она ушла от него и скрылась в табунке ланок. Времени прошло около часу, она забыла про Развалистого и вышла из табунка. Не успела она отойти, как он тут опять с неприятным своим приставанием. Ей тогда ничего не оставалось делать, как опять бежать в табунок, но я нашел этот момент самым выгодным для себя и, лежа за камнем в заветрии, крепко сжимая конец веревки в руке, заиграл в олений рожок. Тогда она сразу, со всех ног бросилась, и я не ошибся в расчете: он тоже бросился за ней со всех ног. И у него не только ни-малейших сомнений не было, когда он вбегал в ворота, но даже, когда закрылись они за ним, он не обернулся и, мало того, ничуть не смутился при моем появлении.

С каким же нетерпением стал я дожидаться времени, когда начнется гон пятнистых оленей. Постепенно румянились листья винограда, вспыхивали огни мелколиственного клена, и однажды, после небольшого тайфунчика, в тишине, в звездную ночь родился мороз, и в ту же самую сентябрьскую ночь опять, как и прошлый год, в той же самой стороне, на той же самой горе заревел первый изюбр.

Прошло еще две недели в ежедневных, глазу заметных переменах. Пospel виноград.

Жень-шень. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

На желтых пастбищах покраснелись блюдечками приплюснутые к земле умершие азалии, и все пастбище стало как будто после боев с пролитой кровью оленей. Тогда опять ночью в таинственной тишине, там, где черный хребет пересекается хвостом Большой Медведицы, заревел первый олень, и ему, как эхо, ответил другой, этому эху – еще отдаленное эхо. Самое главное мне было теперь, после того как начался рев, не упустить у Хуа-лу тот день, когда всякая ланка начинает на следах своих оставлять запах, ужасно волнующий всех рогачей: почуяв его по ветру издали или прямо перед собой на земле, они перестают есть, идут и в поисках ее ревут. Чую этот след, рогачи готовы на смертный бой из-за ланки, но сама ланка в такой день хочет играть, и больше ничего: проворная ланка сама станет первая заигрывать с неопытным или тупым рогачом, а когда он, воспаленный, бросится к ней, то она побежит во весь дух, как будто уверяя его, что этот брачный пробег и есть самое лучшее и все единственно ценное в ланке. Благодаря тому, что Развалистый был пойман вновь и жил у меня, я мог до точности верно узнать тот день, когда Хуа-лу будет именно в таком состоянии, чтобы шалить и бежать, но никак не даваться грязным, забрызганным своей собственной похотью рогатым быкам.

Настал же наконец такой вечер, я заметил первые признаки. Беру Хуа-лу на веревочку и медленно очень знакомой тропой иду с ней вокруг Туманной горы. Наступила лунная ночь, везде слышался рев, а иногда откуда-то долетал до слуха сухой треск от ударов костяных рогов. Лунною ночью почему-то олень не очень боится, и часто я вижу совсем близко от себя то рога, то белую салфетку. И так близко, случалось, ревел рогач, что это был уже не рев, как издали кажется, а множество разнообразнейших звуков, хотя все они говорили, как и отдаленнейший рев, только о страдании: мучительный хрип, стон, крик. Вместе со своей Хуа-лу я чувствовал в себе какую-то глухую неприязнь к этому, вблизи совершенно безобразному реву страсти самцов, но среди этих грубых звуков была одна нотка наивной, почти что детской обиды и нежно-смирненной просьбы сочувствия. По-человечески мне так представлялось, что и Хуа-лу была внимательна к реву только из-за этой просьбы сочувствия к страданию и что она из-за этого именно и готова была теперь с любым рогачом поиграть и побегать. Она часто останавливалась, прислушивалась, вздрагивала и, конечно, оставляла везде свои заметки. Тихий ласковый ветер обнимал Туманную гору, и в то мгновение, когда рогач чуял Хуа-лу, он переставал реветь и шел на ветер до следа, но рядом со следом желанным он чуял след самого ужасного зверя и останавливался в глубоком недоумении, забывая даже реветь. Да, у них есть чутье, о котором человек теперь совершенно забыл. Я по той жалобной нотке догадываюсь, что в их чутье, как у нас теперь осталось с цветами, первоначально тоже дается какой-то образ красоты, хотя бы на одно только мгновение независимый от самой страсти, и когда вслед за тем страсть врывается и в одной красоте ничего для себя не находит, то вот у нас музыка, а у них рев...

Так, вероятно, много рогачей по ветерку, обнимающему Туманную гору, учуяв Хуа-лу, переставали реветь, шли на ветер и, встретив ужасный след человека, смущенно останавливались, долго стояли на месте, а потом осторожно шли все-таки вперед, по следам и заметкам.

XV

На рассвете родился мороз. Я ввел Хуа-лу в питомник, насторожил ворота-западню и в заветрии, из-за камня, стал ждать событий на сопках, расположенных одна за одной до Туманной горы. Воздух, чуть-чуть морозный, был совершенно прозрачен, и море, совсем голубое, охватывало Туманную гору, а горный камыш в белых кружевах от мороза на голубом все хорошел и хорошел. Мало-помалу с прибавлением света до того становилось красиво, что как будто от этого в глубине меня начиналась острая боль, и такая, что вот бы немного еще, и я, как олень, подниму голову вверх и зареву. Так отчего же, если кругом так прекрасно, является эта как будто смертельная боль? Или, может быть, я, как олень, при виде прекрасного жду чего-то приятного и, не имея его, страдаю и тоже вот почти готов реветь, как олень?

Когда везде стало видно и все заблестало, на косых оленьих тропах Туманной горы показались там и тут рогачи, сначала издали маленькие, как мухи, а потом побольше, на время совсем исчезали в боковых распадках между падами и показывались из-за первой сопки, потом из-за второй, а когда рогач забирался на последнюю сопку, то вырастал из-за нее рогами, – так и казалось, будто из-под земли вырастают рога. На сопке против Орлиного Гнезда стояла единственная пиния, закаленная в постоянной борьбе с тайфунами, вся-то она была в узелках, и каждый узелок – след удара тайфуна – держал победоносную веточку с длинными



Жень-шень. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru  
темно-зелеными хвоинками, да и самый-то ствол был весь в искривлениях, но все-таки это был победоносный высокий ствол, и тень от него по желтому пастбищу с кровавыми пятнами умерших азалий лежала протянутая до самой лощины с густой зеленой травой и дубовым кустарником. Эта лощина была как маленькая падь: все больше и больше углубляясь, она доходила до самого моря, и на дне, в камнях, то показываясь, то исчезая, бежал самый маленький ручеек. Вот в этой лощине и пасся теперь табунок ланок с сайками, и еще тут были два рогаца, очень темные и спокойные, не ухаживали за ланками, не ели, не ревели, а просто неподвижно стояли вроде каких-то монахов-созерцателей. Из-за сопки к дереву с падающей тенью вышел необыкновенно огромный олень с чрезвычайно важной осанкой и в то же время без рогов. Странное впечатление оставлял этот олень с царственной важностью властелина оленей и в то же время вместо рогов с небольшими шишками на голове. Серый Глаз, конечно, пришел тоже по моим следам с гор и теперь смотрел с высоты сопки прямо к нам в открытые ворота. Я вздумал взять его, как Развалистого, тихонечко раскрыл ворота, насторожил веревку, погладил Хуа-лу на прощанье и выпустил. Она весело вышла и тихонечко, степенно направилась было в лощину к табунку. Но Серый Глаз понял, что из табунка ее скоро не выживешь, и бросился на прямых ногах прямо наперерез и успел пересечь ей путь и остановить. Давно ли видел я этого оленя таким прекрасным, и вот он теперь весь в грязи, весь измызганный, сокращающий судорожно мышцы на животе, огромная, раздутая от постоянного рева шея, налитые кровью глаза. От этого ужасного чудовища Хуа-лу бросилась бежать в сторону дерева, он – за ней, и оба скрылись за сопкой. Тогда я схватился за свой рожок, проиграл, и, видно, она услышала, завернула и показалась в самом начале той лощины, где пасся табунок и неподвижно стояли два черных монаха. Не удержи ее лощина с кустарником, конечно, она принеслась бы ко мне и привела бы непременно за собой быка, но она чуть-чуть задержалась в кустах, и Серый Глаз ее тут настиг.

...Был ли у него в это время, как у нас, людей, какой-нибудь свой, олений, созданный силой особенного обоняния, образ независимой красоты? Нет, я думаю, теперь у него никаких возможных следов этого образа не оставалось, не красота была перед ним, а хорошая, приятная жизнь. Он поднялся быком на воздух. И вдруг там, в воздухе – нет ничего. Да, так бывает: вот бы только, вот-вот, а и нет ничего! Хуа-лу прибегла к единственному средству спасения: легла на землю. Тогда все вдруг пропало, и красота, и хорошая жизнь. А Серый Глаз, увидав, что действительно нет ничего, запрокинул назад свою голову и тонко засвистел, и от тонкого свиста обратной сиреной, переходя в рев, все ниже и ниже проревел, и потом опять и опять. В промежутке между свистом и ревом была у него, как и у всех быков, одна нотка не то жалобы, не то обиды, и эта именно нотка была ключом к пониманию происхождения оленьей музыки. А еще я и о себе думал: да, конечно, и моя смертная боль была оттого, что я когда-то, как олень, не мог разделить красоту и хорошую жизнь, но хорошая жизнь вдруг исчезла, и оттого чувство красоты во мне сопровождается смертельной болью.

Если бы я на оленьем гону был, как ученый, и начал бы правильно исследовать, то я с того бы начал, что отказался бы оленей по себе понимать. Но я же сам тут, в пустыне, страдал, совершенно как всякое животное, и в этом чувствую с ними родство, мне их жалко, я чувствую их по родству: она лежит, пережидает, а он стоит над нею, мучительно униженный, исхудалый, забрызганный грязью, измызганный властелин тайги с костяными шишками вместо величественных рогов. Так ясно, так просто понятно, что единственное средство сохранить себя – это бой! Теперь все вопросы свелись к одному: или я один, или ты, или я убиваю, или сам умираю...

Приходят из лощины всем табунком ланки и окружают свою сестру Хуа-лу, как будто ее понимают, сочувствуют. А властелин гарема Серый Глаз стоит в ожидании будущей хорошей жизни, ищет, с кем бы только поскорее сразиться. Оба монаха, один в рогах о шести, другой о четырех концах, стоят как вкопанные, не смеют продвинуться ни на шаг вперед. Или они понимают, что с одними рогами ничего не поделаешь? Или они, увидев своего властелина комылом, еще не могут с духом собраться? Или уже завидели, что с гор сюда оленьими тропами спешат Черноспинник, Круторогий, Щеголь и еще много рогачей, испытанных в предыдущих боях? Черноспинник почему-то стал на сопке у дерева и ближе не захотел подходить; как всегда, было в нем что-то затаенное, как будто у него был теперь какой-то дьявольский загад. Между Черноспинником на сопке и лощиной, где в грозной готовности стоял Серый Глаз, разместилось на увалу восемь разных и мне совсем не известных рогачей. Быть может, план Черноспинника был – предоставить всем восьми рогачам драться с Серым Глазом по очереди, и только если Серый Глаз всех поочередно разобьет, самому напасть на усталого или даже просто добить?

Серый Глаз начал с того, что сморщил нос и презрительно фыркнул в сторону первого к нему на увале рогача. Часто бывает этого довольно, чтобы противник бежал. Но рогач не обратил никакого внимания на предупреждение комолого. Серый Глаз выкинул набок язык. Тот все стоял. А дерзкий сам сморщил нос. Тогда властелин тайги пошел на махах, но и тут неизвестный рогач не бежал, а напротив, угнул рогатую голову и сам подался немного вперед. Наверно, он был еще молодой, задорный олень и не понимал, что такое удар Серого Глаза. От одного удара костяными шишками по лбу он упал на передние ноги, а Серый Глаз, как все бойцы в таких случаях, ударил в бок против сердца с такой силой, что сломал своими костяными шишками ребра, и обломки этих костей пронзили смертельное место под левой лопаткой. Смелчак больше не мог уж подняться. Тогда Серый Глаз сморщил нос на второго, и тот убежал; выкинув язык, бросился к третьему, и тот убежал, а за ним и все, вплоть до Черноспинника; а когда Серый Глаз сморщил нос на него, то Черноспинник сам сморщил нос и пошел в наступление.

Недалеко от единственного дерева на сопке когда-то было второе, но теперь от него оставался только пенек. Враги сошлись у самого этого пенька, каждый, быть может, имея в виду воспользоваться им для упора передних ног. Оба уперлись в пенек и начали друг друга теснить лбами и пересиливать. Они очень долго кружились возле пенька, никто не мог пересилить, и вот заметно уже стало, что вокруг пенька вырылась копытами глубокая яма. Вдруг при новом нажиме пенек вырвался из-под ног и полетел далеко в сторону. Тогда оба бойца упали один на другого. В этот момент вдруг из-за куста выбежала Хуа-лу и, спасаясь от Щеголя, бросилась бежать, а я заиграл в олений рожок. Хуа-лу направилась прямо ко мне, и за ней Щеголь. Бойцы тоже заметили Щеголя, бросились, и за ними все рогачи, и все стадо оленье, теснясь, прошло прямо возле меня. Когда все они пронеслись далеко на конец мыса, я не только закрыл ворота, но даже хорошо осмотрел забор возле них и даже кое-где в слабых местах успел немного подправить.

Я пришел в Сосновые скалы к самому концу боя и не мог уже успеть ни своим появлением, ни выстрелами в воздух спасти прекрасных оленей. Серый Глаз и Черноспинник бились у самого края отвеса, над рифами, и, конечно, бой давно бы закончился, если бы у Серого Глаза были рога. Но, не имея возможности парировать рогами, при отсутствии рогов, с незащищенной шеей он много получил в нее ударов. И когда от сильной потери крови он упал на передние ноги, кровь ручьем бежала у него изо рта. Черноспинник ударил его в бок, пронзил ему сердце, но тут в последний момент Серый Глаз вдруг поднялся и неожиданно, остатком последних сил нанес такой удар, что Черноспинник вдруг оборвался и полетел вниз, на рифы, прыгая, как мяч, со скалы на скалу. Серый Глаз еще успел посмотреть сверху вниз и, может быть, еще успел заметить, как покраснели белые гребешки волн, вечно беспокойных на рифах. Потом Серый Глаз покачнулся и пал.

Там и тут в скалах слышались сухие удары костяков хрип, стук падающих вниз камней. И все эти олени были мои.

## XVI

Прошло десять лет с тех пор, как я с помощью прирученной Хуа-лу поймал много рогачей и начал строить большое пантовое хозяйство. Мой друг не пришел, я строил один. И еще год прошел. Я все был один, и мне отдыху не было. И еще год... Бывает, проходит какой-то срок ожидания, и близкого, живущего где-то вдали человека начинаешь вспоминать, как умершего. И вдруг, когда с наружного виду и вы и друг ваш переменялись неузнаваемо, приходится встретиться. Это ужас! Вздрогнув, бледнея, вы начинаете догадываться по чертам, изрезанным временем, и наконец узнаете по голосу. Мало-помалу, углубляясь с другом в пережитое, вы постепенно и бессознательно начинаете как будто кому-то прощать, становится очень легко на душе, и наконец происходит желанная встреча: под напором возвращенной радости жизни оба друга для себя становятся такими же молодыми, как были. Я так понимаю действие корня жизни жень-шень. Но бывает напряжение корневой силы жизни так велико, что вы любимого человека, раз навсегда утраченного, находите в другом и начинаете нового любить, как утраченного. И это тоже я считаю как действие корня жизни жень-шень. Всякое другое понимание таинственного корня я считаю или как суеверие, или просто медицинским. Так, по мере того хода времени: год, другой, - друг не приходит, я начал забывать, и наконец совершенно забыл, что где-то в тайге все растет и растет мой собственный корень жизни. Вокруг меня так все переменялось: поселок на берегу Зусухэ стал небольшим городком, и столько собралось тут разных людей. Я часто езжу по своим большим делам в Москву, в Токио, Шанхай. И на улицах этих больших городов чаще вспоминаю свой жень-шень,

Жень-шень. Михаил Михайлович Пришвин [prishvinmihail.ru](http://prishvinmihail.ru)  
чем в тайге. Вместе со всеми тружениками новой культуры я чувствую, что из природной тайги к нам в нашу творческую природу перешел Корень жизни и в нашей тайге искусства, науки и полезного действия искатели корня жизни ближе к цели, чем искатели реликтового корня в природной тайге.

Работа очень увлекает меня, и, конечно, это она спасает меня от тоски. Но вот приходит срок моему мужскому одиночеству. Мы встречаемся и долго не можем сказать друг другу верного слова. Вот тут было дерево, на котором она когда-то сидела и собирала прелестные коробочки от морских ежей, тайфунами и волнами развешенные на ветках этого дерева. Теперь Зусухэ столько нанесла песку на это дерево, что только по едва заметным намекам можно было узнать место, где олень-цветок обернулась мне женщиной. Молча мы стояли тут, на берегу, возле белого кружева океана, под мерный ход большого времени вместе с морскими ежами, ракушками, звездами узнавая короткий счет своего человеческого маятника.

А как скоро разрушаются горы! Вон там висела скала, под ней проходили к морскому берегу к соленой воде олени, изюбры, еноты, и мы тоже когда-то под руку прошли вместе со зверями по общей тропе. Теперь тайфун свалил ту скалу, и тропа кругом обходит рассыпанные камни. На том месте, где стояла фанза Лувена с окнами из бумаги, теперь стоит исследовательская лаборатория, большое здание с широкими итальянскими окнами. Из всего большого пантового хозяйства с оцинкованной сеткой в несколько километров, отрезающей всю Туманную гору, теперь уже осталось немного старых оленей, по Хуа-лу жива и бродит везде совершенно свободно, как домашнее животное.

Мы подошли к могиле Лувена под огромным кедром. Китайцы вырубили в дереве небольшую кумирню, где совершают свои обряды, сжигают бумажные свечи. Вот тут, рассказывая подробности из жизни самого дорогого мне человека, я вдруг вспомнил о моем корне Жень-шень, растущем где-то недалеко от Певчей долины. Почему бы нам теперь из любопытства не пойти туда и не посмотреть на Жень-шень? И мы пошли вдвоем искать вновь когда-то уж найденный корень.

Конечно, я давно забыл оставленные Лувеном приметы но знал, что к Певчей долине надо идти через Семивершинную падь в третий Медвежий распадок. Так мы прошли эту падь и по распадку поднялись на самый верх. В Певчей долине все было по-прежнему, те же громадные редкие деревья с большими солнечными просветами и поющими птицами. Но когда мы из Певчей долины спустились по древней террасе в частый лес, где живут тенелюбивые травы, я потерялся. Мы долго бродили взад и вперед в надежде найти то место, где мы долго сидели с Лувеном молча.

Сколько раз мне случалось находить забытое место лучше ночью, чем днем, и даже больше, – прямо в себе самом найдешь какой-нибудь вопрос, поставленный себе еще в то время, и вдруг по особенно сильному запаху грибов догадываешься, что вопрос этот явился именно при таком запахе, и это где-нибудь тут должно быть; тогда повнимательней посмотришь вокруг себя и вспомнишь. Так и тут, когда мы наконец пришли ощупью к верному месту и наша спокойная беседа остановилась, вдруг из ручья послышалось:

– Говорите, говорите, говорите!

И тогда все музыканты, все живые существа Певчей долины заиграли, запели, вся живая тишина раскрылась и позвала:

– Говорите, говорите, говорите!

После того я увидел ствол дикой яблони, по которому мы когда-то с Лувеном перебрались на тот берег ручья, и все вспомнил до мельчайших подробностей. На том самом месте, где мы когда-то стояли на коленях, он молился, я думал, и мы тоже теперь остановились и осторожно перебирали руками тенелюбивые травы. Мы с таким интересом, волнением работали, что некоторая маленькая натянутость наших отношений совершенно исчезла, мы стали быстро сближаться и вдруг увидели Жень-шень! Потом я долго делал из коры кедра точно такую же коробочку, как видел тогда давно у маньчжуров, и потом вместе мы шивали кедровую кору лыком. Осторожно, чтобы не повредить ни одной мочки, мы выкапывали корень, и он оказался очень похожим на тот, который видел я тогда у маньчжуров: имел он вид человека нагого, руки были и ноги, на руках тоже мочки, как пальцы, и шея, и голова, на голове коса. Мы насыпали ящик землей, той же самой, где рос корень, с большими предосторожностями уложили его и возвратились на то место, где мы

Жень-шень. Михаил Михайлович Пришвин [prishvinmihail.ru](http://prishvinmihail.ru)  
когда-то сидели с Лувеном и, слушая живую тишину, молча думали каждый о своем. Теперь мы так независимо молча не могли долго сидеть, в ручье началось:

– Говорите, говорите, говорите!

Заиграли музыканты Певчей долины, и мы хорошо сговорились между собой.

Я не хотел бы раскрывать, но если уж говорить, то говорить до конца. Это пришла ко мне не та женщина, но говорю: сила корня жизни такая, что я в ней нашел собственное мое существо и полюбил другую женщину, как желанную в юности. Да, мне кажется, в этом и есть творческая сила корня жизни, чтобы выйти из себя и себе самому раскрыться в другом.

Теперь у меня есть вечно увлекающее меня, созданное мною самим делом, в котором я чувствую себя, будто мы, вооруженные знанием и современной, особенно острой потребностью в любви, возвращаемся к тому самому делу, которым занимались наши дикие предки на заре нашей культуры: приручением диких животных. Я ищу ежедневно всякого повода соединить методы современного знания с силой родственного внимания, заимствованного мной у Лувена. Итак, вот у меня есть заманчивое дело. У меня есть друг-жена и милые дети. Если смотреть на людей, как они живут, то я могу себя назвать одним из самых счастливых людей на земле. Но опять повторяю: говорить, так уже говорить до конца! Есть одна мелочь в моей жизни, если смотреть со стороны, не имеющая никакого влияния на общий ход моей жизни, но эта мелочь, мне иногда кажется, является таким же исходным моментом жизнетворчества, как у оленя смена рогов. Каждый год непременно той туманной весной, когда олени сбрасывают свои старые, отмершие костяные рога, у меня тоже, как у оленей, происходит какое-то обновление. Несколько дней я не могу работать ни в лаборатории, ни в библиотеке и в счастливой семье своей не нахожу себе отдыха и успокоения. Какая-то слепая сила с острой болью, тоской гонит меня вон из дому, я брожу в лесу, в горах и непременно попадаю в конце концов на скалу, из бесчисленных трещин которой, как из слезниц, вытекает влага, собирается крупными каплями, и кажется – скала эта вечно плачет. Не человек это – камень, я знаю хорошо, камень не может чувствовать, а между тем я так сливаюсь с ним своим сердцем, что слышу, как у него там где-то стучит, и тогда я вспоминаю прошедшее, делаюсь сам совершенно таким же, как был в молодости. Перед глазами моими в виноградный шатер Хуа-лу просунет копытце. Является все прошлое со всей его болью, и тогда, как будто совсем ничего не нажил, говорю вслух своему истинному другу, сердцу-скале:

– Охотник, охотник, зачем ты тогда не схватил ее за копытца!

Похоже, как будто в эти болезненные дни я сбрасываю с себя все созданное, как олень свои рога, а потом возвращаюсь в лабораторию, в семью и снова начинаю работать и так вместе с другими тружениками, безвестными и знаменитыми, мало-помалу вступаю в предрассветный час творчества новой, лучшей жизни людей на земле.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

1 Аналогично перелету птиц у животных существует своя миграция, особенно заметная на Дальнем Востоке. (Здесь и далее примеч. М.М. Пришвина.) перешел русскую границу, перевалил какой-то хребет и увидел перед собой голубой океан. Да, вот за одно только за это, чтобы увидеть с высоты перед собой голубой океан, можно бы отдать много трудных ночей, когда приходилось спать на слуху, по-звериному, и есть, что только придется достать себе пулей. Долго я любовался с высоты, считая себя по всей правде счастливейшим в мире человеком, и, закусив, начал с гольцов спускаться в кедровник, а из кедровника мало-помалу вступил в широколиственный лес маньчжурской приморской природы. Мне сразу же особенно понравилось бархатное дерево своей простотой, почти как наша рябина и в то же время не рябина, а бархат: пробковое дерево. На серой коре одного из этих деревьев были черные от времени русские слова: «Твоя ходи нельзя, чики-чики будет!» что было делать? Прочитав еще раз, я подумал немного и, соблюдая таежный декрет, круто повернул назад, чтобы найти другую тропу. Между тем меня наблюдал человек за деревом, и когда я повернул, прочитав запрещение, он понял, что я неопасный человек, вышел из-за дерева и замотал головой в стороны, чтобы я его не боялся.

2 Саёк – годовалый олень.

Жень-Шень. Михаил Михайлович Пришвин [prishvinmihail.ru](http://prishvinmihail.ru)  
3 Леопард на Дальнем Востоке почему то называется именем совсем другого животного – барса.

4 Контрами – рубить голову.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://prishvinmihail.ru/> Приятного чтения!  
<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.  
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин  
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.  
<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография  
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>  
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!